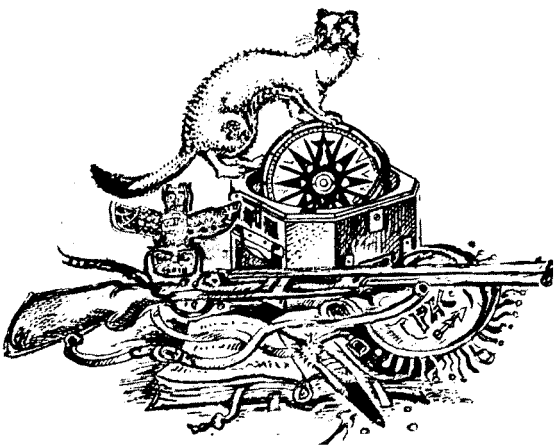




СЕРГЕЙ МАРКОВ
Ю КОНСКИЙ
ВОРОН



Москва
«Детская литература»
1990

ББК 84Р7
М26

Художник
Д. Утенков

М $\frac{4803010201-374}{\text{М101 (03)-90}}$ 240—90

ISBN 5—08—001604—3

© А. И. Алексеев. Предисловие, 1990

© Д. Утенков. Рисунки, 1990



Сергей Марков и его герой

«Юконский Ворон» — ранний и самый известный роман Сергея Николаевича Маркова, наложивший отпечаток на творчество писателя и в какой-то мере на его судьбу. Я хорошо знал писателя, принимал участие в издании его книг, часто бывал у него дома. Беседам нашим, казалось, не будет и конца... В числе многих и я провожал писателя в последний путь. Поэтому мне и хочется предварить роман «Юконский Ворон» небольшим рассказом о его авторе и некоторыми сведениями о Лаврентии Алексеевиче Загоскине — Юконском Вороне.

Парфяне — так издревле называли на Севере уроженцев древнего костромского посада Парфентьева, в котором в семье землемера 12 сентября 1906 года родился Сергей Николаевич Марков. Отец занимался составлением чертежей и планов, в доме всегда было много книг,

старых описаний неведомых земель, карт родной костромской земли.

Читать Сергей Марков обучился самостоятельно. Позже он напишет, как в один прекрасный день, «радуясь и изумляясь, прочел на зеленоватой обложке слово «Нива» — название журнала, исправно приходившего в наш дом. Он был для меня первым окном в безграничный мир». Дальше — больше... Велика была радость мальчугана, когда бабушка на базаре покупала ему «наряду с лакомствами и игрушками книжки в издании Сытина, Ступина, Саблина. А сытинский настольный календарь в пурпурно-золотой, как жар-птица, обложке! В нем — рассказы о героях Русской земли и стихи, стихи!»

После того дня, когда он с бабушкой посмотрел в кинематографе картину о гибели Ермака, юноша начал интересоваться книгами о жизни первопроходца, из которых он узнал, «что Вологда, Великий Устюг, Тотьма, Сольвычегодск были колыбелью продолжателей дела Ермака, проложивших отсюда путь в Сибирь, на Камчатку, Чукотку и Аляску, а оттуда — в Британскую Колумбию, на Гавайские острова».

Радости переменялись с горем. В 1919 году умер отец. Пришлось уехать из родных мест. Работал в Средней Азии, потом в Западной Сибири. Здесь были написаны и опубликованы первые очерки и стихи.

С. Маркова заметил Максим Горький и пригласил в 1929 году к себе. Путевка в литературную жизнь, выданная начинающему поэту и писателю, возымела огромное действие на Маркова. Он поверил в себя.

В прозе С. Маркова, в лирике его чудесных стихотворений оживают страницы героического прошлого русского народа, оживают образы землепроходцев и мореходов земли Русской...

Писатель С. Н. Марков был действительным членом Географического общества СССР. Он хорошо знал архивы, особенно архивы Западной Сибири и Русского Севера. Из них он черпал сведения, факты по истории географических открытий и исследований Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки.

В основе романа «Юконский Ворон», созданного в период 1937—1941 годов, жизнь и необычные приключения замечательного русского моряка, путешественника и ученого Лаврентия Алексеевича Загоскина. Его книги, рассказы и статьи, публиковавшиеся в русских журналах, привлекали постоянное внимание читателей и исследователей.

Л. А. Загоскин родился 21 мая 1808 года в мелкопоместной дворянской семье, в селе Николаевке Пензенского уезда Рязанской губернии. В роду Загоскиных было много военных, и неудивительно, что Л. А. Загоскин был 1 июня 1822 года зачислен в Кронштадтский морской

кадетский корпус. Четырехлетнее пребывание в корпусе, воспитание в нем оказались весьма полезными. Он получил специальное военноморское образование, подкрепленное во время практических плаваний на Балтийском флоте.

25 сентября 1826 года унтер-офицер Л. А. Загоскин окончил корпус, получил чин мичмана и был направлен для прохождения службы на Каспийское море, в Астрахань.

6 апреля 1832 года он был переведен в Балтийский флот. Балтийский флот зимовал в Кронштадте. Тут встречались офицеры разных поколений, многие из которых могли рассказать об океанских плаваниях, о дальних странах, о Русской Америке. Именно тут Л. А. Загоскин написал свои «Воспоминания о Каспии», тут у него окрепла мысль испробовать свои силы на Дальнем Востоке, на службе Российско-Американской компании. И он своего добился: 8 декабря 1838 года Загоскину было разрешено перейти на службу в компанию, и 30 декабря он отправился в далекое путешествие через Сибирь.

В начале июля 1839 года Л. А. Загоскин появился в Охотске — колыбели русского Тихоокеанского флота, где и принял в командование бриг Российско-Американской компании «Охотск». В ночь на 15 августа 1839 года бриг под его командованием вышел в плавание. Дли-

тельный, месячный переход в северной части Тихого океана не ознаменовался какими-либо значительными событиями. В ночь на 6 октября в ответ на выстрел с брига вдали засветился маяк в Ново-Архангельске. На рассвете бриг встретила байдара с лоцманом, и вскоре судно встало на якорь. Лейтенант Л. А. Загоскин прибыл в Новый Свет.

Зиму 1839/40 годов Л. А. Загоскин провел в Ново-Архангельске с правителем колоний и другими служащими. Именно в эту зиму он написал замечательные очерки, напечатанные в 1840—1841 годах в журнале «Маяк» под общим названием «Заметки жителя того света». В них Загоскин описал свое путешествие по Сибири, Охотскому морю и северной части Тихого океана, а также жизнь и быт Ново-Архангельска и его жителей. Вместе с тем Л. А. Загоскин тщательно готовился к будущим своим путешествиям, изучал историю исследования Аляски, встречался и разговаривал с некоторыми участниками походов по внутренним районам Аляски. Еще в 1840 году он писал правителю Российско-Американской компании А. К. Этолину, что хотел бы испытать себя в подобном путешествии.

Официальное предложение от Этолина участвовать в экспедиции Загоскин получил 8 марта 1842 года, а уже 1 мая, полностью подготовившись, перебрался на бриг «Охотск». Это судно должно было доставить Загоскина и его

спутников к Михайловскому редуту в заливе Нортон.

Итак, 4 мая 1842 года бриг «Охотск» вышел из Ново-Архангельска и вернулся туда только 26 сентября 1844 года.

Л. А. Загоскин в течение двух с лишним лет руководил самой крупной в истории исследования внутренней Аляски экспедицией. Научные результаты ее, добытые с затратой ничтожных средств, превзошли все ожидания. Описаны и положены были на карту бассейны рек Квих-пака, или Юкона, и Кускоквима, а также южная и западная части залива Нортон. При этом астрономически определены 40 пунктов, послуживших надежной основой для нанесения на карты указанных рек. Основные их притоки Л. А. Загоскин исследовал на расстоянии до ста миль. Метеорологические наблюдения дали богатый материал о закономерностях климата Аляски. Л. А. Загоскин собрал большие естественные коллекции по зоологии, ботанике и минералогии. И наконец, исключительную ценность представляют собой и материалы Л. А. Загоскина по статистике и этнографии. Была собрана коллекция оружия, одежды, домашней утвари народов Аляски. Впервые составлен «Краткий словарь двух племен народа ттынай» и «Краткий сравнительный словарь наречий намоллов и кадьякцев с наречиями туземцев, проживающих по берегам Берингова моря».

Все наблюдения были Л. А. Загоскиным тщательно обработаны, изданы и стали доступны широкому кругу читателей, а «Пешеходная опись части русских владений в Америке...» надолго стала настольной книгой многих поколений. В 1849 году труды Л. А. Загоскина были удостоены Российской Академией наук Демидовской премии.

Закончился срок пребывания Л. А. Загоскина в Русской Америке, и 16 мая 1845 года он вышел на корабле «Наследник» из Ново-Архангельска в Охотск. Затем путешествие через Сибирь, теперь в обратном направлении — домой.

За время его отсутствия умерли отец, сестра и младший брат. Загоскин вышел в отставку в чине капитан-лейтенанта 23 марта 1847 года.

15 января 1849 года Русское географическое общество избрало Л. А. Загоскина своим действительным членом. До конца своих дней он жил в Рязанской и Пензенской губерниях, не порывал связей с наукой, в частности с географией и этнографией. Как прогрессивный деятель, он не мог примириться с продажей Русской Америки.

Лаврентий Алексеевич Загоскин — Юконский Ворон — скончался в Рязани 22 января 1890 года. Замечательный путешественник, выдающийся ученый, писатель и мореплаватель, отзывчивый и честный человек, пат-

риот — таким он остался в памяти русских людей.

Предлагаемое издание романа «Юконский Ворон» приурочено к 250-летию открытия Аляски русскими мореплавателями.

Рисунки, позволяющие глубже понять суровый в своей простоте мир Аляски, выполнены известным не только в СССР, но и за рубежом художником Демьяном Утенковым. Его работы выставлялись на международных выставках и художественных ярмарках Европы, Америки, Азии.

Гравюры Утенкова украшают коллекции советских и зарубежных музеев, частные собрания США, ФРГ, Канады, Японии, Великобритании, Франции.

А. И. Алексеев,
доктор исторических наук,
кандидат географических наук



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Палисады редута трещали от мороза. В ночной тишине раздавались звуки выстрелов — это лопались листовенничные бревна. И хотя большая русская печь топилась круглые сутки, тепло не долго держалось в жилье. Игольчатый иней светился в углах комнаты и на косяках дверей. Он казался розовым от отблеска жаркого огня в печи.

Светлоглазый Егорыч — начальник Михайловского редута в Русской Америке — сидел за большим столом и, поминутно снимая нагар со свечи, заполнял страницу в книге о приезжающих в редут по служебным делам. Книга эта в то же время была и дневником жизни редута. Егорычу давным-давно следовало бы сделать записи, но он ленился. Вот уже два месяца прошло с тех пор, как новый человек появился в жилье, все это время он бродил по тундре и в

редут приходил только для того, чтобы разобрать свои бумаги.

Разговаривал приезжий мало, и Егорыч — человек разбитной и словоохотливый — сначала даже обижался на него. На вопрос о том, что нового в Ново-Архангельске, гость ответил, что он не знает ничего, так как столицу Русской Америки покинул давно и бродил все это время то по берегам Кёлошенских проливов, то у Чилькута, то по глухим тропам Кенайского полуострова.

Начальник Михайловского редута пытался было расспросить его о цели этих скитаний, но тот не захотел пускаться в лишние разговоры. И Егорыч лишь вздыхал, в который раз перечитывая врученную ему бумагу. В ней предписывалось оказывать новому человеку всевозможное вспоможение, давать провиант и всякие принасы, находить для приезжего знающих проводников, обеспечивать ему средства передвижения, невзирая на время и расстояние. Судя по всему этому, приезжий должен быть важной птицей, но в то же время он даже не носил флотской формы, а в бумаге именовался просто «лицом, временно состоящим в службе и распоряжении у Российско-Американской компании». Все это сбивало с толку и мучило Егорыча. Старовояжный охотский подштурман чувствовал, что этот новый для него человек — лицо далеко не простое и уж наверно из флотских. И Егорыч, поскрипывая гусиным

пером, прилежно выводил в книге Михайловского редута: «...1842 года... Прибыл в редут не имеющий чина Лаврентий Алексеев Загоскин с особой бумагой от господина главного правителя Российских колоний на островах и твердой земле Северо-Западной Америки...» Немного подумав, Егорыч дописал: «...для испытания натуры сих мест...» Это выражение ему очень понравилось. Оно, как ему казалось, звучало красиво, веско, как бы приоткрывало завесу тайны, за которой скрывались подлинные занятия пришельца. Куда хочет идти он в такой мороз? Отказался от лыж и собак, сказав, что лед на Квихпаке свободен от снега. Упрямец. Ему нужно идти обязательно руслом реки. Приказал разбудить себя, как только начнет светать. А пока спит на широких нарах в углу бревенчатого зимовья, и пар от его дыхания клубится над ним. Нужно будить этого молчаливого, загадочного человека. А мороз звенит за окном! Вот опять раздался короткий выстрел: лиственница треснула от мороза. В такую пору за палисад не выгонишь и собаку.

Егорыч перекрестился, вспомнив о замерзшем индейце. Ведь и Загоскин видел все это своими глазами. Дня три назад к стенам редута примчалась собачья упряжка. На нартах с полозьями из мамонтовой кости стоял неподвижно человек, закутанный в меха и плащ из лосиной кожи, облепленный сверху обледеневшим снегом. Снежная кора блестела на солнце, поблес-

кивал и голубоватый ствол ружья, крепко зажатого в руке индейца. Егорыч первым подбежал к нартам. Собаки тяжело дышали, высунув языки. Их слюна замерзала на лету, падая на сугроб подобно каплям стекла. Начальник Михайловского редута несколько раз окликнул индейца. Тот молчал. Тогда Егорыч взял его за плечо. Удивительно легкое тело покачнулось и рухнуло вдоль нарта. Раздался легкий стук, как будто упало длинное промерзшее полено. Индеец был мертв!

На аляскинском морозе, на ветру, он не смог сдержать бег собак; они мчали его сквозь белые равнины, пока сердце человека не остановилось.

Тело, завернутое в лосиный плащ, похоронили, вернее — водрузили привязанным к доске между вершинами двух лиственниц за стеною редута.

Михайловский редут стоял на небольшом острове; неподалеку от него вились голубые рукава устья Квихнака — так назывался великий Юкон. Остров Михаила — ледяная тундра, поросшая карликовыми березами; земля оттаивает здесь летом лишь на три дюйма, дальше идут слои вечной мерзлоты, а потом — поздраватая вулканическая почва. Тело индейца нельзя было предать земле...

Голубая лавина рассвета подошла к бастионам редута. В начале полярного утра Загоскин встал. Это был высокий человек лет тридцати. Он посмотрел при свете печи на толстые



карманные часы и громко щелкнул крышкой. Пора выступать! Поверх меховых одеяний и лосиного плаща Загоскин надел походную сумку, пристегнул к поясу пистолет и компас. Толкнув плечом обледеневшую дверь, он вышел из жилья. Было уже так светло, что различался труп индейца, покачивавшийся, как маятник, между лиственничными стволами.

— Ваше благородие... На гибель идете,— сказал Егорыч, указывая на тело индейца.— Да еще пешком! Обождали бы до весны... Сердитесь не сердитесь, а в книге я записал, что вы насчет мороза упреждены были...

— Время не ждет, Егорыч. Да, можно без благородия, к тому же я и чина лишен... Ну, индейцы готовы? — И он крикнул что-то по-индейски, постучав в окно хижины, где жили промышленные.

— Вам виднее, Лаврентий Алексеич,— сказал Егорыч.— А Кузьма с Демьяном сейчас облокутся и выйдут. Да вы более на Кузьму надейтесь: он все же дольше среди русских жил. Доглядывайте за ними; беда с этими индианами-новокрещенами. Не ровен час — конь в спину всадят... Когда ждать вас, что в Ново-Архангельск отписать?

— Напиши: бывший флота лейтенант Загоскин выполняет приказ Компании. Сего числа он вышел из редута по льду Квихнака к вершине реки... Егорыч, а ежели что со мной произойдет,

пусть отпишут в Пензенскую губернию... Погляжу, не замело ли чертеж.

Легко ступая по звонкому, остекленевшему от ветра сугробу, Загоскин подошел к стене редута. Под самым палисадом — чтобы не замело снегом — на снежном откосе был изображен грубый чертеж. Бывшие аманаты¹, повокрещены Кузьма и Демьян, боясь колдовской силы карандаша, начертили на сугробе обломком кости Юкон, его рукава, границы залива Портоп. При этом индейцы объяснили, что палисад надо считать Великими Горами — там истоки Квихнака, а скат сугроба — спадом реки в море... Вот единственная карта похода!

Когда они все трое вышли из ворот редута и миновали заиндевевшие бастионные пушки, над тундрой заялась багровая заря.

Безветрие и холод. Сугробы покрыты свежим легким снежком, под ним плотный, как литое железо, пласт давнишнего снега. Шаги бесшумны. Повокрещены несут на спинах припасы — мешки пельменей с олениной из Ново-Архангельска, мясо, чай, похожий на камень хлеб, леденцы, которые плотнее свинцовой пули...

Путники вошли в рябиновую рощу. На деревьях висели алые грозди, пощажённые птицами. Загоскин невольно протянул руку к запорошен-

¹ А м а н а т ы — заложники.

пой снегом ветке. Ветка вырвалась, осыпав его искристой пылью.

— Чет — нечет, — загадал он и снова потянулся за яркой гроздью.

Пересчитав ягоды, он улыбнулся и сунул гроздь в сумку. Вспомнился пензенский сад, покрытый плесенью забор, кольцо калитки. Суждено ли ему возвратиться к рябинам отчизны?





ГЛАВА ВТОРАЯ

Три человека все идут и идут по льду Квихпака. Им нужно дойти, совершив путь не в одну сотню верст, до ближайшего поста Российско-Американской компании, или до «одиночки»¹, как здесь его называли. Там, у очага, сидит длинноволосый и безбородый русский креол — приказчик. Он ждет, когда к нему прибредет индеец со шкурами выдры или красной лисицы. Они вспрыснут сделку крепкой русской водкой и надолго расстанутся друг с другом. И опять он один, только сверкание снега вокруг, треск бревен хижины и тьяканье красной лисицы, которая стелется по сугробу, как огонь оставленного костра.

Путники ночевали в сумрачной чаще близ берега Квихпака. Индейцы нарубили свежих

¹ Скупочный пункт Компании.

хвойных ветвей, покрыли их мохом и развели костер рядом с ложем. Загоскин вскоре заснул. Голубая пелена сна отделила его от снежного мира. Он видел поля, заросшие золотой пензенской рожью, видел дни, когда он был совсем молодым. Во сне аляскинский снег пахнул антоновкой, той, которую Загоскин ел в детстве.

Потом засверкали огни. Множество разноцветных огней. Что это? Светлая звезда над адмиралтейской иглой, звезды, отраженные в Неве у паранетов около Морского корпуса? Или это плывут над зеленой балтийской волной бортовые огни фрегата «Урания» — мичман Загоскин стоит на ночной вахте? И гром волны, и звон корабельного колокола, и зыблющийся огонь на верхушке мачты, и все это — сквозь голубую пелену! Она стелется, плывет и звучит. И у края ее, блистая, возникает золотая полоса каспийского песка. Русский десант бежит по горячим холмам, персидские пехотинцы немело отстреливаются. Багряные пятна мерцают на песке, но цветут они недолго: кровь испаряется на барханах — и пески вновь становятся золотыми. Потом вдруг чей-то неторопливый голос читает реляцию о «Деле при Северо-Восточной Куринской банке», чья-то жилистая рука протягивает Загоскину золотую медаль, висящую на цветной ленте. И все это сон, все — начало и конец прожитого... Потом — Астрахань, сияние плодов на шумном рынке и отвесные лучи полуденного солнца. В море, про-

зрачном на сажень, идут косяки рыбы, серебряной и ярой. Тела рыб сверкают, как клинки. Светятся паруса брига «Тавриз», обрызганные водяною пылью. А потом, потом... Матрос 2-й статьи Лаврентий Загоскин идет вверх — на марс фрегата «Кастор». Как будто нескончаемая дорога в небо, как будто на конце гудящей мачты сияет колючая одинокая звезда и ее можно взять рукой. А на плечах разжалованного — мокрая и грубая одежда солдата морей... Он моет палубу, и в потоках зеленой воды играет отражение лучей скупого балтийского солнца. И темная пена скатывается с камней Аландских островов. Голубой проблеск — и над озаренным молнией морем вспыхивает огонь маяка Утте. Из светлого марева плывут черепичные кровли Ревеля. Когда-то Загоскин брезговал заходить в портовые кабаки. В Ревеле лилось золотое пиво. Пить!.. Он проснулся и протянул руку, чтобы по привычке взять горсть снега. Голубая завеса еще качалась перед глазами, но через мгновение исчезла. Кругом все бело, все непроницаемо, сплошная белая стена. Загоскин стряхнул с плеч снег. Стена! Белые частицы ложились плотным слоем. Он сделал знак рукой, и с земли поднялся большой снежный ком. Это — один из индейцев. А где второй? Спрашивать бесполезно — сквозь шум метели не слышно голоса... Загоскин понял: нужно беспрестанно двигаться. Он протянул руку к индейцу, взял его за край плаща и потянул за

собой. Они, обнявшись, ходили вдоль снежной стены, ходили безмолвно и не раз спотыкались о головни потухшего костра. Надо держаться ближе к кострищу, чтобы не заблудиться. Он считал шаги, считал, сколько раз коснулся ногой холодных головней. Прочь лазурную завесу!.. Да, бывший лейтенант Загоскин разжалован в матросы. Но Квихнак — великая река Аляски, протянувшаяся, как он думает, на четыре тысячи верст, через лед, снега, кустарники и черные леса, принадлежит теперь ему. Что представляют собой горы, о которых говорят индейцы? И действительно ли там находятся истоки Квихнака? Загоскин будет идти вперед, пока кровь движется в его жилах!

Когда Загоскин собирался сюда, в Ново-Архангельске его пугали людоедами-кыльчанами, которые когда-то убили Самойлова, одного из первых русских на Аляске. Пусты! Лучше пернатая индейская стрела или резная дубина, чем жизнь штрафного матроса.

Приятель декабристов лейтенант Лутковский читал когда-то Загоскину стихи Пушкина, а потом они долго молчали, глядя на солнце, встающее над морем с правого борта фрегата. Он помнил запахи жизни — дыхание золотой смолы на стволах сосен, жар пуншевой чаши, помнил даже, как горчит разбухшее лимонное зерно, кружащееся в кипучей влаге пунша. Загоскин выпустил край плаща индейца и сбил снег с мешка за плечами спутника, улыбнулся,

почувствовав, с каким трудом разомкнулись его обledenелые ресницы. От улыбки вспыхнула боль в мышцах лица. Все хорошо! В этом именно мешке лежат записи — о температуре почв острова Михаила, образцы вулканических пород, дневник, записи индейских сказок, словарь языка индейцев и... письмо женщины с золотистыми глазами. О, светлый дом в занесенной снегами пензенской усадьбе, мохнатые ели у окна, антоновское яблоко в тонких пальцах! К черту! Жизнь будет сверкающей, как золотая парча. Он пройдет Квихпак до Великих Гор и откроет все, что в его силах. В Ново-Архангельске он будет целый месяц спать каждую ночь, а днем разбирать дневники и писать.

А потом он поедет в Калифорнию, в залив св. Франсиска. Там Загоскин поднимется на заоблачные горы за русской крепостью и увидит восход солнца. Ниже облаков — пояс дубовых рощ. Загоскин будет лежать на спине и смотреть в небо и на дубовые ветви, а резные листья закружатся над ним. Если его не уложит индейская стрела, не сгложет цинга, он увидит родину. С Загоскиным будет говорить старик Крузенштерн, он протянет руку штрафному матросу. В глазах Загоскина потемнело, и в черной тишине он увидел отчетливо и беспощадно, как чужая холодная рука, задевая его небритые щеки и шею, срывает с плеч лейтенанта эполеты. Это было, когда он стоял на шкапцах «Аракса», на глазах всего экипажа...

Голубое, золотое, черное... Вся жизни! А она может оборваться. Он снова обхватил индейца и зашагал вдоль снежной стены. Загоскин не видел лица спутника, не мог говорить с ним. Он лишь пожимал руку индейца и ощущал ответное пожатие. Значит, они оба живы. В снежной тундре — два горячих человеческих сердца! Так они ходили долго, и Загоскин не смог уловить того мгновения, когда белая стена исчезла. Багряные лучи солнца ворвались в тундру. Метель затихла. Сквозь замерзшие ресницы Загоскин увидел пухлые холмы снега. Они казались розовыми, они мерцали. Розовые излучения перемежались и убегали к берегу Квихпака. Там начинался синий лед — ветер сдул весь снег с замерзшего русла. Русский услышал чей-то голос и, обернувшись, увидел индейца. Тот стоял на коленях, обратив лицо к заре, и бормотал молитву господню на языке аляскинцев. Слышны были лишь обрывки слов. Размашисто крестясь, индеец молился и Иёльху — Вóрону, богу своих племен. Молился и плакал, и нельзя было понять отчего — от радости или с горя. Снег скрипел под коленями индейца.

— Русский тойон, — торжественно и горестно сказал индеец. — Демьян бросил нас еще вчера, перед метелью. Он потушил костер и взял мешок с круглой мороженой едой. Я Кузьма, но меня зовут еще Черной Стрелой. Стрела летит всегда прямо, и она не гнется. У меня — не кривое сердце. Я из племени Вóрона. Демьян —

тоже. Но в каждом племени есть разные люди. Я клянусь тебе, что найду Демьяна где угодно и отомщу. В знак этого — для памяти — я продерну в мочку красную нитку. Воины не делают так, как Демьян. Я Ворон! — крикнул Кузьма.

Загоскин молча положил руку на плечо индейца и заглянул ему в глаза. Так вот каков он, этот новокрещен! Глаза индейца светились. Искры гнева прыгали в них.

— Слушай, русский, — сказал Кузьма. — Я никогда не бросил бы тебя в метель. Ты пойми — ты русский, а я индеец. На! — Он вытащил из-за пазухи ломоть сушеного мяса и разломил его пополам. — Больше у нас нет ничего. Но мы дойдем до «одиночки».

И они стали спускаться к синему руслу Квихнака.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Селение немирных индейцев стояло на левом берегу Квихпака. Возле хижин с двускатными крышами возвышались резные столбы с изображениями божеств рода. Ворон с багряными глазами, лягушка, кит, орел — все это в черно-красном великолении размещалось на стволе лиственницы, врытом в землю. Сквозь мерзлые сети, развешанные у хижин, проходил свет неяркого солнца. Лед блестел на бортах раскрашенных лодок.

Селение пустовало. Мужчины ушли на охоту. Они облеклись в толстые плащи из древесной коры, надели деревянные шлемы, украшенные узорами, и взяли двурогие медвежьи копья. Лишь тойон — начальник рода — остался дома. Он напился и спал в своей хижине на ложе из бобровых шкур. Индеец Кузьма на правах спутника русского толкал, будил тойона,

ругал его сыном змеи, но пьяный лишь стонал во сне. Рядом с ним стояла деревянная чашка с моченой морошкой. Кузьма присел в ногах тойона на бобровое ложе и стал набивать рот желтыми тяжелыми ягодами. Он на некоторое время забыл обо всем.

А Загоскин стоял возле резного столба одной из хижин и смотрел на Великого Вóрона.

Высокая девушка в одежде из меха и алого сукна выглянула из хижины и, высоко занеся над головой руку, метнула в пришельца короткое копье. Он лишь слегка пригнул голову и поймал копье на лету; иззубренное острие разорвало ему рукавицу возле большого пальца.

Девушка кинулась в хижину. Загоскин улыбнулся и воткнул копье в снег рядом с собой. Вот она снова показалась в дверях хижины — бледная, гордая и плачущая, с синим ножом в руках. Искры плясали по лезвию. Он со смехом встретил нож протянутой рукой, поймал ее руку и осторожно отвел лезвие от своей груди. Теплые пальцы разжались. Тяжелый нож упал и ушел по рукоять в снег. Как она плакала! Она рухнула на снег, закрыла лицо руками и стала покачиваться то вправо, то влево. Загоскин дотронулся до ее плеча, она пошевелилась и подняла лицо.

— Я плачу оттого, что не могу тебя убить, — сказала она. — Нечем убить, и ты сильней...

— Слушай, индейская девушка, — спокойно ответил Загоскин. — Знаю, что у тебя есть копьё и нож, но... должна быть ещё игла с ниткой... Принеси!

Она подняла голову и с удивлением долго смотрела на него. Он, казалось, равнодушно разглядывал щит из бисера на ее груди.

— Хорошо...

Она пошла в хижину и скоро вернулась с костяной иглой и ниткой из сухожилий оленя. Загоскин взял иглу, снял разорванную копьём рукавицу, сбросил в снег вторую и, что-то напевая, принялся за починку. Они стояли у бревенчатой стены хижины. Огромная ледяная сосулька, розовевшая на солнце, свешивалась с крыши как раз у того места, где стоял Загоскин. Девушка насмешливо следила за ним. Глухой русский! Он, стараясь проколоть рукавицу, обращает тупой конец иглы к стене дома, выбирает гладкий сучок и, с силой упирая в него иголку, вдавливая ее так, что она сгибается почти в дугу!

Он выпрямился, чтобы вытереть пот со лба, наткнулся плечом на острие сосульки и отшатнулся. Индианка злорадно рассмеялась: копьё, нож, ледяное острие — все против русского! Но он улыбнулся, отломил сосульку и, широко размахнувшись, бросил ее в сугроб. Вот он высасывает кровь из проколотого иглой пальца и с усилием протаскивает сквозь мех скользкое костяное острие. И смеется! Она вырвала рукавицу и



иглу из его рук и, не глядя на Загоскина, ушла в хижину. Он остался один. Разглядывая Великого Ворона, он согревал руки своим дыханием. От голода кружилась голова. В бледном небе плыли золотые зерна. Где-то лаяли собаки и плакал ребенок. Сколько времени прошло? Девушка открыла дверь и размашисто бросила зашитую рукавицу к ногам Загоскина. Он молча поднял рукавицу. Девушка ждала. Русский дышал на руки. Почему он не надевает рукавиц?

— Пойдем к моему очагу! — сказала она просто и повелительно.

Загоскин улыбнулся и не двинулся с места.

— Я тебя зову! — закричала девушка. — Иди, или я возьму конье у соседа.

Она вплотную подошла к путнику. Загоскин взял ее за руку, она вырвалась.

— Ты замерз, беловолосый, ты голоден. Торопись, пока мужчины не пришли с охоты!

Загоскин, шатаясь, побрел за индианкой. Посреди хижины пылал очаг, звериные шкуры лежали на земляном полу. На стене висели панцирь из костяных пластинок и деревянный, пестро расписанный шлем в виде головы ворона. И он тоже смотрел на гостя багряными глазами.

— Почему ты хотела убить меня? — спросил Загоскин.

Вместо ответа индианка подошла к гостю и сняла шапку с его головы.

— Нет! — сказала девушка. — Нет, слава

Ворону. Я думала, что ты из тех русских, которые кунают индейцев в воде и дают им новые имена. Раскрой грудь! Слава Ворону — нет! У таких людей — цепь на груди...

Она приняла было его за священника! В памяти индейцев еще жил беспутный и хмельной отец Ювеналий, отнимавший у мужчин племени Ворона жен и дочерей. А здесь, в низовьях Юкона, приказчик Колмаков еще недавно крестил туземцев в огромном чугунном котле. После этого стали рассказывать сказки о том, как злой русский человек варил живьем детей Ворона. Загоскин невольно рассмеялся, вспомнив об этом.

— Меня зовут Ке-ли-лын. Так меня будут звать до смерти, я не хочу креститься. Пусть приходят длинноволосые люди — я стану убивать их, как медведей...

— А меня?

— Ты обморозил себе щеки, беловолосый, — вместо ответа сказала индианка. — Я дам тебе гусяного жира... Куда ты идешь один? Где твой дом, жена, дети?

— У меня их нет...

— Потому ты и не боишься смерти! Мне нет дела, куда ты идешь. Я накормлю и обогрею тебя. Если ты останешься жив — вспомни меня... Как хорошо ты говоришь по-индейски!

Он сжал кулаки. В первый раз его жизнь зависит от женщины! Но сердце Загоскина радостно стучало. Он улыбнулся и вновь почув-

ствовал, как от улыбки болят обмороженные щеки и веки.

Индианка придвинула к нему деревянную чашку с вареной рыбой. Он порылся в карманах и достал тряпицу со щепотью серой соли. Несмотря на голод, он старался есть медленно. Девушка не смотрела на него. Она подкладывала хворост в очаг, черные волосы ее свешивались почти до пола; от движений ловкого тела звенел бирюзовый панцирь на ее груди.

Загоскин насытился и вытащил из-за пазухи путевой дневник. Никто не знает, что случится с ним завтра! Он вышел из хижины определить широту и долготу местности. Скрыченные пальцы с трудом держали карандаш. Вернувшись, Загоскин спросил, как называется селение. Ке-ли-лын ответила: Бобровый Дом. «Значит, где-то близко есть бобровые плотины», — подумал он и вдруг ощутил непреодолимую потребность уснуть. Устало взглянул он на пламя очага, и оно расплылось в его глазах. Он погружался в сладостный туман, веки смыкались так крепко, как будто Ке-ли-лын зашивала их золотой нитью. Пробудил его толчок в плечо.

— Скорее беги, беловолосый, — сказала индианка. — Торопись, или ты никогда не сможешь вспомнить обо мне.

Загоскин прислушался и различил вой собак и звуки победной охотничьей песни. Он быстро сообразил: люди племени Ворона скоро будут здесь. Они тащат на жердях добычу, мажут

копья звериной кровью. Потом здесь начнется дележ... Он успеет уйти, затеряться в зарослях мерзлых низкорослых ив у берега Квихпака.

— Ты еще сможешь вспомнить обо мне. Спеши!

Загоскин спустился в заросли и лег в снег. Ветви царапали ему лоб, он отводил их и жадно вглядывался в простор.

...Вот охотники вошли в село, размахивая копьями и рогатинами. Девушка в алом двинулась навстречу мужчинам. Высокий индеец склонился над убитым медведем, к индейцу подошли другие; блеснули ножи, и через несколько мгновений люди, издавая протяжный крик, подняли на копьях медвежью шкуру. И вдруг все расступились перед девушкой в алом. Она облеклась в еще дымящуюся шкуру зверя и начала медленную пляску. На жестоком морозе была видна кайма розового пара, окружающая танцовщицу. Стуча копьями о щиты и рукоятками кинжалов о панцири, индейцы медленно кружились и пели. Загоскин видел праздник охоты, душой которого была она — Ке-ли-лын.

Он поднялся со снега и побрел сквозь кусты вдоль берега Квихпака, выбирая места, где снег был наиболее плотным. Загоскин покидал чужой, случайный и теплый кров. Где теперь Кузьма? Скоро сядет солнце, мир станет серебряным, а ночью грянет звенящий мороз. Еще

мгновение, и Загоскин готов был заплакать, но он сжал обмороженные пальцы так, будто душил кого-то. И в это время широкий луч солнца упал на вершины кустов; они застыли, как бы вылитые из тяжелой бронзы. Потом луч опустился на снег, и золотая дорога — мерцающая и подвижная — заструилась по сугробам. Загоскин посмотрел на компас и вскрикнул от радости — дорога совпала с его путем.





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кусты скоро перешли в мелколесье, а в глубине страны Загоскина встретили густые, черные леса. Он шел то ледяным руслом, то берегом Квихпака, часто отклоняясь от пути, чтобы осмотреть лес. Орлиное гнездо на лиственнице, обледеневшая бобровая плотина на лесном ручье, олений след манили его. Раз, когда Загоскин крался к лисьей норе, он почувствовал страшную боль в правой ноге. Оказалось, что он наступил на иглу дикобраза, сдохшего, очевидно, осенью и погребенного под тонким слоем листвы и неглубоким снегом. Он стал вытаскивать иглу — она сидела между пальцами ступни, — и ему показалось, что он даже услышал легкий скрип — так плотно держалась игла в ране. Лоскутом рубахи он перевязал ногу, срезал палку и пошел, опираясь на нее. В тот же день кровь в сапоге замерзла, и подошва как бы

увеличилась вдвое, а нога удлинилась, и правое плечо стало выше левого. Но он шел...

Теперь он ставил силок на глухарей, и почти каждый раз в самодельных тенетах грузно ворожался краснобровый красавец. Человек хватал птицу за шею и свертывал ей голову набок. Руки его — ладони и пальцы — были исколеваны птицами. Хорошо, что Егорыч в Михайловском редуте подарил ему запасное огниво и кремь, а трут Загоскин добывал в лесу. У него был огонь. Путник жарил глухарей на костре. При свете костра он не раз смотрел, не почернела ли ступня. Узкую и глубокую ранку скоро затянуло. Но он все-таки хромал.

Однажды, проходя под большим деревом, он услышал, как зашуршал на ветвях снег. И тотчас что-то шумное и живое свалилось с дерева, увлекая за собой снег и сухие хвойные иглы. Он едва успел отскочить и взвести курок пистолета. Багровый свет вспыхнул в его глазах, он не видел ни дымка, ни блеска выстрела. Он лишь услышал протяжный вой. Раненая рысь каталась по снегу. Загоскин переступил с ноги на ногу, прицелился и вогнал в нее еще одну пулю. Он хотел было уже двинуться дальше, как вдруг отчетливо вспомнил в ровном солнечном сиянии алую одежду индианки, бирюзовый панцирь на ее груди, теплую и живую бронзу щек. Загоскин поспешно опустился на колени перед убитой рысью и стал снимать с нее шкуру. Он просовывал крепко сжатый кулак под кожу,

приподымал ее вверх и снимал, временами вытирая окровавленные руки о край лосиного плаща.

Сняв шкуру, Загоскин накинул ее на плечи и пошел вверх по Квихпаку. Он начал производить топографическую съемку местности. Отрезав от плаща кусок лосины, искромсав его на узкие полосы, он связал их между собою. Получился длинный кожаный шнур. Осталось только хорошо промазать его жиром глухаря. Загоскин привязал к концу шнура термометр. Он подходил к дымящейся речной полынье, становился на край зеленого льда и бросал термометр в тяжелую зимнюю воду. А что, если промахнешься и термометр разлетится в куски на льду? И Загоскин заключил свой прибор в рамку из лиственничных веток. Когда ему нужно было измерить глубинную температуру, он привязывал к термометру большую свинцовую пулю.

Долгожданную «одиночку» Загоскин увидел с вершины прибрежного холма. Но почему над трубой зимовья не видно дыма, не слышно лая собак? Почему настежь распахнуты ворота лиственничной стены, а огромный деревянный засов лежит у внешней стороны палисада? Тропа к зимовью занесена снегом. Держа пистолет перед грудью, он заковылял к воротам.

— Эй, кто там? — крикнул он по-русски.

«Одиночка» молчала. Загоскин повторил свой вопрос по-индейски и, не дождавшись

ответа, рванул на себя обитую шкурами дверь. Она примерзла; значит, в избе давно не топили. Порог был покрыт серым льдом. Загоскин с трудом проник в дом.

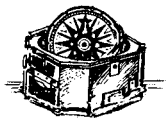
Креол-приказчик лежал неподалеку от окна, голова его была размозжена, сгустки мерзлой крови разбросаны на мехах, устилавших пол. На сосновом столе белела раскрытая книга приема мехов; склонившись над ней, Загоскин прочел: «Март 1842 года. Лисиц красных — 3, волков — 5, выдр речных — 12, соболь — 1, медведей — 4, бобров — 2...» Где же все это? Он прошел в пушную кладовую; там валялась лишь окровавленная заячья шкурка — очевидно, убийца вытирал ею руки — и чернели пустые пороховые бочки.

Потом он подошел к креолу. Сдвинуть тело с места не удалось — оно накрепко примерзло к полу. Загоскин разжег очаг и стал дожидаться, когда жилье наполнится теплом. Креола он прикрыл шкурой рыси. Согревшись, Загоскин вышел и, внимательно оглядев все вокруг дома, нашел приметный холмик. Расчистив снег, обнаружил сундук со съестными припасами — хранилище неприкосновенных запасов пищи, какие обычно устраивают в глухих зимовьях. Он богат! Сегодня он ест рыбу и солонину, пьет крепкий кяхтинский чай с сухарями. Но надо подумать, что делать с телом креола. Загоскин решил на время положить его в кладовой на пустые пороховые бочки, сдвинутые в ряд.

Ночью спалось плохо. Загоскин вдруг вспомнил о том, что в мешке индейца Кузьмы остались все бумаги, записки и наброски — плод исследований на острове Михаила. Как теперь восстановить все это? Мозг работал с удивительной быстротой. В сознании вспыхивали цифры. Они казались красными. Температура вечной мерзлоты в шурфе «А»... Скорость течения Квихпака у морского бара... 24! Это число найденных им костей ископаемых оленя и овцебыка... Он вскочил с мехового ложа, подсел к огню и, раскрыв тетрадь, стал записывать то, что вспоминал... Жаркая смола на поленьях сосны — ча́ги — до утра кипела в очаге. Загоскин смотрел на белые страницы — по ним пробегали то дым, то отблески огня, то тень от его двигающейся руки.

Когда встало солнце, угли в очаге еще звенели золотым жаром. Загоскин взглянул на них, улыбнулся и повалился на шкуры. Спал долго, без сновидений.

В хижине креола он прожил неделю.





ГЛАВА ПЯТАЯ

Снова нескончаемый снежный путь. Лаврентий Загоскин хотел до наступления весны пройти к Большим Порогам. Пробираясь узкой тесниной близ устья одного из квихпакских притоков, Загоскин все время ощущал близость какого-то живого существа. Кто-то настойчиво шел по его следу. Ворона с криком кружились над деревьями, дикие олени не раз вырывались из лесов и летели, закинув рога на спину. Они уходили от невидимого и упорного преследователя.

Тревога овладела Загоскиным. Ведь он знает все! Перед тем как выступить из «одиначки», он внимательно оглядел пол и стены зимовья. Прикинув высоту роста убитого креола, Загоскин вершок за вершком исследовал стену и нашел то, что искал. Концом ножа он с усилием вынул

из стены слегка согнутую свинцовую пулю и осмотрел ее.

Североамериканские тундры скрывают любые следы; может быть, и тот, кто идет по пятам русского, несет в кожаной суме груз медных патронов? Кто он? Креол с реки Мекензи, закутанный до глаз в пурпурное одеяло, с волосами, перевязанными алой лентой, или белый человек с остекленевшими на северном ветру глазами?

Наконец Загоскин явственно увидел преследователя. Он стремительно спускался на лыжах в долину с высоты, поросшей голубыми елями. Как ловко скользил он между деревьями! Плащ, как парус, вставал за его плечами. Какой-то темный и длинный предмет летел по следу лыжника. Что же? Придется помериться силами!

Загоскин лег за обледеневший камень, растянул сумку и сосчитал заряды. Их всего пять. Пусть преследователь стреляет первым. Но бог мой! Он встал во весь рост из-за камня. Ведь это индеец Кузьма... В руках его — неразлучное копьё, за плечами — два ружья; на кожаном ремне вслед за Кузьмой бегут запасные лыжи. Свист лыж оборвался. Индеец остановился в трех шагах от русского, выпростал ноги из ремней и стал снимать сумку и ружье. Он тяжело дышал; пот застыл на лице, как стеклянная чешуя. Кузьма вытирал лицо краем плаща, но ледяная корка нарастала вновь.

— Слава Вóрону, ты жив! — сказал Кузьма. — Я принес твой мешок, принес пищу. Мы пойдем вместе.

В сердце Загоскина что-то оборвалось. Он бросился к индейцу и обнял его.

— Нет, Кузьма, дай я тебя поцелую, — пробормотал Загоскин.

— погоди! — важно сказал индеец. Он не спеша вынул из нижней губы колюжку — палочку из мамонтовой кости — отличительный знак индейцев-тлинкитов.

Они троекратно поцеловались. Потом Кузьма снова вставил палочку в губу.

— Мой отец, его звали Бобровой Лапой, — промолвил индеец, — учил меня так: сначала огонь и еда, а потом беседа. Хочешь табаку, русский тойон?

Загоскин с удивлением взглянул на замшевый кисет с бисерным шнуром и увидел вышитые на нем буквы — «Н. Р.». Сколько дней его трубка была пуста! Он с жадностью затягивался крепким, душистым дымом.

— Где ты взял табак, Кузьма?

— Мне его послал Великий Ворон... Помолчи, русский тойон... Смотри, как разгорается костер. У меня есть котелок, мы будем варить налима.

Ярко-красное пламя, черный дым, золотое марево и снова пламя! Так чередовались цвета жизни. Загоскин выкурил три трубки подряд. Голова его сладко кружилась. Он глядел на

индейца и видел лишь одно его лицо с каплями пота, осевшими в бороздах татуировки.

Когда они съели рыбу, Кузьма собрал кости и кинул их в огонь. Потом он набил трубку и лег у костра. Мерно покачивалась кисть из орлиных перьев и лохмотьев кумача на чубуке трубки, и индеец так же мерно ронял слова:

— Люди Ворона говорят: высокий, светло-волосый русский из Ситхи не сделал никому зла. Он не сажал индейцев в котел с водой, не отбирал у них жен, не брал мехов. Русский шел через снега, не убивая никого, кроме зверя. Женщины Ворона говорят — русский не притрагивался к ним. О,— вскричал Кузьма,— как вспоминает тебя одна из наших дочерей! Она сама хотела, чтобы ты прикасался к ней,— добавил индеец.

Загоскин отвернулся будто оттого, что не мог смотреть на жар костра.

— Не смущайся, русский тойон. Ты заслужил любовь, заслужил храбростью. Она хотела, чтобы ты прикасался к ней, но тебе пришлось уйти. Я остался у тойона, где ел морошку и ждал, когда этот сын змеи проснется. Но он выпил столько русской водки, что спал до утра. Я ушел. И тогда та, которую ты знаешь, окликнула меня. Она спросила, не видел ли я ее собаки с белым пятном на спине. Я ответил: «Нет!» Тогда она спросила, умею ли я делать силок на горностая. Я засмеялся и сказал: «Дочь Ворона, ты сама упустила горностая».

Она ответила: «Старший брат, садись к моему очагу, будем говорить. Ты слуга белого человека?» — «Нет, — ответил я, — сын Ворона не может быть слугой, а только другом. Я его друг с недавних пор». Она помолчала. В тот день я был сыт по горло; до этого ел я только морошку в хижине тойона. Потом я поднялся от очага. Девушка Ке-ли-лын не отпустила меня. О, она так проникла в мое сердце, что я рассказал ей все: как мы с тобой шли и как Демьян бросил нас и сбежал. Посмотри на меня, русский тойон, и брось ходить вокруг костра, посмотри — я крещусь в знак того, что все было именно так! Дочь Ворона сказала: «Индеец Демьян в последний раз смотрит на солнце. И он далеко не уйдет!» Я ничего не ответил и только показал ей на нитку, которую я продернул в мочку. Утром она запрягла собак, и мы помчались по Квихпаку. На пятый день нас захватила метель. Мы лежали вместе с собаками, закутавшись в плащи, прижавшись друг к другу. Дочь Ворона сказала мне снова, что Демьян завтра умрет. Я знал, что он родом с Кускоквима, и мы помчались туда.

Теперь подойди ко мне и выдерни красную нитку из моей мочки! Мы свершили то, что было надо. Демьян сначала не заметил нас. Он шел по мелкому лесу, сбивал копьём иней с кустов и пел во все горло. Дочь Ворона встала на нартах, крикнула на собак — мы пересекли ему путь. Он понял все и заметался, как песок!

Демьян хотел жить. Он стал говорить быстро-быстро. Мы слушали его. Я запомнил лишь то, что он сказал — русский поп все время твердил ему: «Не убий». Значит, и мы его не должны убивать, хотя он украл у тебя еду и жизнь. Но он все кричал, что он никого не убивал. «Хуже, — ответила дочь Ворона, — ты затоптал огонь, согревавший спящих!» — «Это сделала метель!» — ответил Демьян. Правда, он не плакал — он все ж был когда-то сыном Ворона. «Нечего разговаривать, — сказала она. — Поддержи его, старший брат». И я держал индейца Демьяна, своего бывшего брата по племени Ворона.

Как свершилось все — я не помню. Знаю только то, что он бил ногами, как пойманный олень, и пробил снег до самого мха. Она зарезала его ножом с тяжелой ручкой. Потом Кели-лын хотела снять кожу с его макушки вместе с волосами и послать их тебе — Белому Горностаю (запомни, это твое имя!), но я сказал, что русские не любят таких подарков. Теперь посмотри, что прислала она тебе!

Потрясенный Загоскин молчал. Он набивал трубку, рассыпая табак по коленям. Руки его дрожали, и ему нужно было сделать усилие, чтобы взять из костра красный уголь, раскурить трубку. Сквозь пелену голубого табачного дыма он видел спокойное лицо Кузьмы. Загоскин перебирал в пальцах алую шерстяную нитку. «Цвет гнева и мести», — подумал он.

— Она трудилась два дня,— объяснил Кузьма,— и разводила краски из сажи, сухих цветов и ягод. Она достала самую гладкую и белую бересту. И вот что она послала тебе...

Загоскин увидел на бересте рисунок: Великий Ворон витал в стреловидных лучах яркого солнца, под ним простиралась синяя кайма реки, две стрелы с багровыми перьями лежали вдоль ее течения. Белый Горностай шел к солнцу и Великому Ворону: на снегу чернели следы горностая. И тела двух охотников с копьями в груди лежали на пространстве, уже пройденном Белым Горностаем...

— Она пробила грудь Демьяна копьем и пригвоздила его к сугробу, чтобы он не вздумал еще после смерти обернуться волком или росомахой,— бесстрастно пояснил Кузьма.

Алые зерна пронеслись в глазах Загоскина, и он почувствовал, как сердце его сжалось, а потом вдруг стало таким огромным, что, казалось, заполнило собой весь мир. Он вспомнил праздник охоты и розовый пар, окружавший дочь Ворона. Чтобы успокоиться, он взглянул в неподвижное синее небо и увидел полярную сову. Она висела в воздухе, высматривая добычу, еле шевеля пухлыми крыльями.

— Сейчас я попробую подарок Кели-лын,— шепнул индеец и, двигая локтями, отполз от костра, держа впереди себя ружье.

Луч солнца сверкал на его замке. Вскоре раз-

дался сухой и резкий звук. Сова забилась на снегу...

— Это ружье, Белый Горноста́й,— сказал Кузьма,— послала тебе тоже она. Возьми! — Он повернул ружье прикладом к Загоскину, и тот взял в руки прекрасное, точное и хорошо пристрелянное оружие, изготовленное, как он увидел по клейму на замке, в Бирмингеме...

Русский пристально взглянул на Кузьму. Вместо ответа тот вынул из сумки какой-то предмет, похожий на связку сухих кореньев. Это были лапы черного ворона — амулет, приносящий удачу индейцам.

— Дай мне красную нитку, русский тойон,— попросил индеец.— Мы скрутим ее вдвое. Так. Теперь я привяжу лапы Ворона к стволу. Подержи приклад. Хорошо! Они не будут мотаться на ветру и закрывать мушку. Коготь Ворона принесет счастье; прости меня, святой Никола, я еще не забыл бога своего народа.

Кузьма помолчал, поглаживая голубую сталь ружья. Потом он размашисто перекрестился на восток и торжественно поднял руку вверх.

— Я знаю, что ты меня будешь спрашивать сейчас о ружье белого человека. Все, что я скажу,— истинная правда. Ке-ли-лын нужно было родиться мужем и воином. Послушай, что она сделала для твоего народа и ради тебя, Белый Горноста́й! Вспомни русскую «оди-

ночку» на Квихпаке — все, что ты видел недавно.

Индеец взмахнул трубкой с орлиными перьями и неторопливо начал рассказ. Вот однажды в Бобровый Дом, крича и размахивая копьем, влетает на лыжах бродячий индеец из племени Орла... Он спрашивает тойона, и начальник Бобрового Дома приказывает индейцу присесть на бобровые шкуры и рассказать все по порядку. Перемежая рассказ клятвами, индеец поведал: он шел в русскую «одиночку» со связкой мехов красной лисицы. Русский креол отворил ему тяжелые ворота, индеец положил копье и нож у порога дома и прошел внутрь зимовья. Креол пожалел, что индеец опоздал: хозяин «одиночки» только что отправил в Михайловский редут всю пушнину последней скупки. Но гость просил принять меха. Креол в раздумье ходил по хижине — ему не хотелось, чтобы товар залеживался до весны. Сын Орла упросил приказчика, и они заключили сделку, поладив на котле, топоре и стакане водки. Потом креол раздобрился, спросил у индейца о его семье и подарил ему нитку бисера для его жены. Они выпили водки, и их сердца взыграли. Креол и его случайный гость завели разговор об охоте, о женщинах.

Вдруг гость и хозяин услышали скрип лыж. Без шапок они выскочили на крыльцо. Человек с обледеневшими ресницами, пригнув голову, чтобы не стукнуться о притолоку ворот, влетел

во двор. Широко расставив ноги, он задержал лыжи, распутал ножные ремни и подошел к креолу. Незнакомец выпрямился и поднял руку к виску. Креол в ответ просто кивнул ему головой, длинные волосы приказчика развевались по ветру. Пришелец обратился в хозяину «одиночки» на незнакомом наречии. Тот покачал головой. Тогда человек перешел на индейский язык.

«Откуда ты?» — спросил креол.

«С реки Стахин», — ответил гость.

Креол недоверчиво посмотрел на лыжи незнакомца, подбитые шкурой оленя. На таких лыжах ходят по ту сторону Великих Гор.

«Я голоден и хочу обогреться, — сказал пришелец и добавил: — Я заплачу за все... А это кто?» — спросил он, указывая на индейца, как указывают на собаку, когда хотят узнать ее кличку.

«Сын Орла! — ответил индеец. — А ты кто, белый?»

«Я хозяин индейцев с реки Стахин, — ответил, не глядя на него, человек на широких лыжах и пояснил, обращаясь к креолу: — Индейский вор убил белого человека из редута св. Дионисия. Я ищу убийцу».

Он торопливо описал приметы беглеца.

«Иди к очагу», — сказал креол сумрачно. Его удивило, что гость не оставил оружия у порога.

Незнакомец говорил отрывисто и громко. Не

успели еще оттаять его брови и усы, как он засыпал креола вопросами. Меньше всего он говорил о воре. Креол исподлобья разглядывал человека. Отмалчивался. Откуда ему знать, сколько русских в Ситхе, пришел ли корабль из Кронштадта в этом году, каков был промысел на бобров? Тогда белый оборвал расспросы и, что-то хрипло напевая, заходил вокруг очага.

«Мы не укрываем воров», — сказал громко креол.

«Знаю! — откликнулся гость. — В помощь мне из Ситхи вышел высокий русский с двумя индейцами. Не видел ли ты его? Соседи всегда сговорятся, — рассмеялся он, — не я, так он поймает убийцу. Где этот русский?»

«Не знаю».

«А ты, индеец, ничего не слышал об этом русском?»

«Нет...»

«Ну ладно, — сказал гость. — Если ты, креол, меня накормишь, я угощу тебя водкой. И тебя, индеец, — добавил он, немного подумав. — Он тоже ночует здесь?» — спросил гость, сморщившись и показывая на индейца.

Они ели багровую солонину и пили мутную ячменную водку.

«Почему вы не знаете ничего о русском?» — опять спросил пришелец и снова налил всем водки.

«Мы, дети Орла и Ворона, — сказал инде-

ец, — желаем удачи тем, кто на охоте или в пути. И нехорошо узнавать у них об их дорогах и удачах. Пусть все зависит от Великого Ворона, хвала ему!»

Тогда человек с рыжими усами притворился совсем пьяным. Он шатался и хохотал. Потом он рухнул на шкуры, притянул к себе за лямки свой мешок, положил на него голову и закрылся мехом. Ночью индеец племени Орла приподнял голову со своего ложа и увидел, как пришелец быстро вынул из сумки пистолет и положил его к себе под бок. Ружье стояло у него в головах.

Утром гость вытер лицо снегом и налил водки из большой фляги только себе.

«Ты почти белый, — сказал он креолу, — ты сын русского и индианки. Два белых будут говорить между собой. Пусть индеец выйдет...»

Совиные глаза его были холодны.

Сын Орла сказал, что он может пойти поглядеть лисьи капканы, которые были расставлены креолом в прибрежных кустах. Креол кивнул головой в знак согласия.

«Слава Орлу, — говорил потом индеец, — что я догадался взять свои лыжи. Иначе и я валялся бы там с нулей в голове».

О чем говорили пришелец с креолом, индеец не знал. Сын Орла решил вернуться в «одиночку», тревога сжимала его сердце. Когда индеец подходил к воротам, дверь зимовья распахнулась, и человек с совиными глазами выс-

кочил во двор. Кровь была на его руках, пылала на прикладе ружья. Бедный креол! Убийца добивал его прикладом. Белый, взяв ружье за дуло, вытирал приклад о снег. Вдруг он заметил индейца, быстро приложился и нажал курок. Или ружье дало осечку, или убийца забыл зарядить его вновь. Сын Орла ринулся на лыжах вдоль палисада «одиночки»; убийца, хрипло ругаясь, выбежал из ворот. Но пока он заряжал ружье, индеец успел пробежать расстояние раза в три длиннее полета пули.

...Обо всем этом он рассказал в Бобровом Доме.

«Ну и что же, сын Орла? — спросил у индейца тойон. — Что ты хочешь?» — Он выпил полную берестяную чашку водки и набил рот моченой морошкой. Но тут вышла вперед девушка Ке-ли-лын. Она не дала говорить ни тойону, ни индейцу. Она кричала на тойона, как на собаку в упряжке. Он потянулся было снова к бутылке, но девушка отняла водку и сказала:

«Братья воины, сыновья Ворона! Наш тойон слаб сердцем. Его нечего слушать. Он променял все — бобровую охоту, лов лососей, радость битв — на берестяную чашку. Мы давно ни с кем не воевали. Из-за Великих Гор к нам пришел на широких лыжах человек с черным сердцем. Он убил человека, в котором текла и наша кровь».

Тут она размахнулась и разбила бутылку об

угол хижины! Тойон только разинул рот от удивления, нащупал рукой берестяную чашку и вылил в глотку последние капли.

«Мы давно не воевали,— снова заговорила она,— нас перестали бояться, и подлый убийца, которому люди дали хлеб и приют, пролил кровь на великом Квихпаке. А он,— Ке-ли-лын указала на тойона,— в это время веселится или спит, как серый медведь. Знаешь, что теперь будет? — сказала она тойону.— Русские придут с моря и подумают, что длинноволосого человека убили мы, честные дети Ворона! Тебя, тойон, первого посадят в Ситхе на железную веревку! Одумайся! Пока не поздно, надо нагнать пришельца на широких лыжах». Но тойон бессмысленно смотрел в пустую чашку и молчал. Тогда Ке-ли-лын обратилась к окружающим их индейцам:

«Сыны Ворона, сын Орла и я — мы поведем вас. Правду ли я говорю вам? Вот здесь стоит сын Ворона, которого русские купали в котле. Но он — воин и тоже пойдет с нами. Он расскажет в Ситхе о том, кто на самом деле убил длинноволосого...»

— Клянусь тебе святым Николой, Белый Горностай,— сказал индеец Кузьма,— что я первый раз вижу такое сердце у женщины. Морщин на моем лице больше, чем узоров, которые начертали мне в детстве острой раковинной. Мой волос скоро побелеет. Я видел на свете многое. Я ездил на Кадьяк на русском

дымящем корабле, русские брали меня с собой в теплую страну к югу от Ситхи, где море всегда синее, а деревья зеленые... Я был и там, где кончается наша земля и где живут люди Зимней Ночи... Да! Когда мы вернемся в Ситху, тебе будет нужно долго спать, есть оленину и ни о чем не думать. А чтобы тебе никто не мешал, я сам буду охранять твой покой. Посмотри, каким острым стало твое лицо! Потерпи, я сейчас доскажу все, только набью трубку.

Ты устал, Белый Горноста́й. Ты меняешься в лице, и я это вижу. Алеуты иногда попадают по ошибке в лисьи капканы; им приходится отрезать ногу, но эти люди улыбаются под ножом. Ты попал в капкан не ногой, а сердцем. Научись не меняться в лице и не сердись на индейца Кузьму за этот совет. Я знаю жизнь. Может быть, я скоро умру: слишком часто во сне я вижу огонь, солнце, сверкающие волны. Прости меня, святой Никола, но пои Ювеналий мне все твердил о том, что, когда я умру, я буду жить лучше, чем здесь; на это я ему сказал: «Если на том свете так хорошо, дай я тебя ударю копьём так, чтобы ты ушел на тот свет». Он меня выругал, а русский тойон в Ситхе за эти слова продержал меня три дня в запертой хижине...

Итак, пьяный тойон в Бобровом Доме ничего не понимает и чуть не плачет оттого, что его берестяная чашка пуста. А дочь Ворона

повелевает индейцами! Они продернули в мочки красные нитки, взяли копья, луки и стрелы. Одноглазый индеец, самый старый в роду воин, посыпал свои волосы орлиным пухом. О, это была славная охота! Дети Ворона шли на чужеземца, как на медведя. Светило солнце, снежный наст был плотен, он блестел, как береста; мы мчались на лыжах — Ке-ли-лын, одноглазый воин и я — впереди.

И вот перед нами блеснул широкий след лыж. Он был неровен. «Смотрите,— сказала Ке-ли-лын,— белый убийца утомился; он еле волочит ноги. Мы нагоним его». Но одноглазый воин заметил другое: иноземец все время сворачивает к берегам рек. Что он ищет там, в местах, где ветер обнажает камни у обрывов? Сын Орла — он тоже был с нами — сказал: «Белый устал, он бредет на широких лыжах медленно. Но как только видит береговые камни — он летит к ним; лыжный след тогда гладок, ровен и прям, как копье». Около камней на россыпях мы находили угли от его костра. Волшебная сила тянула иноземца к этим речным камням!

Наконец Ке-ли-лын и одноглазый воин сказали: «Пора!» Мы все прислушались, до нас доносился легкий, ровный стук, как будто дятел долбил клювом дерево. Мы окружили его. Он сидел на дне речного ущелья. Одноглазый воин залез на вершину старой лиственницы. «Что он делает?» — спросила Ке-ли-лын.

«Долбит камень железом». — «Пусти в него стрелу!» Белого мы дразнили, как медведя. «Понал?» — спросила дочь Ворона. «Я бью без промаха, — ответил старый воин. — Стрела дрожит в его правой руке, и перья стрелы покраснели. Он вскочил на ноги и поднял ружье, но стрела не дает ему приложить ружье к плечу...» Он был мужчиной, этот чужестранец. Стрела мешала ему, он хотел ее выдернуть, но зазубрины на конце стрелы рвали мясо. Тогда он обломал ее с двух концов. С обломком стрелы в руке он побежал по каменной россыпи, чтобы найти место, где укрыться. Он залег за большой камень, но старый воин снова пустил в него стрелу. Тогда иноземец вынул из своей сумки куски белой и гладкой бересты и стал рвать ее на мелкие клочки. Потом белый стрелял из большого ружья. Оно вскоре замолкло; он взял другое, маленькое, но пули не долетали до нас. Он хрипел и бранился: он расстрелял все заряды, которые у него были под рукой. Тогда мы ударили рукоятками ножей о панцири и пошли вперед.

Мы шли двумя полукругами с обоих концов ущелья. Дети Ворона пели и размахивали копьями. Иноземец стоял возле камня; оба ружья и расстрелянные патроны валялись вокруг него. Он понимал, что погибнет, и смотрел на нас, смотрел спокойно, клянусь святым Николой! Обломок стрелы торчал из его руки, а кровь уже успела замерзнуть. Сын Орла, бродя-

чий индеец, который знал все, бежал рядом со мной, и чужеземец узнал его! Белый вздрогнул при виде индейца, хотел закрыть глаза ладонями, но не мог поднять правой руки; она упала вдоль тела, а кровь снова вырвалась из раны.

«Не трогайте его пока, братья,— сказала Ке-ли-лын.— Слушай ты, нечистый человек. Ты все спрашивал о высоком русском, так вот индеец, который шел с ним. Спрашивай! Вот другой индеец, который видел, как ты убил человека, давшего тебе приют и тепло. Ты сам знаешь, что мы убьем тебя. Говори, зачем ты пришел в нашу страну?» Он прикрыл глаза и ответил: «Не скажу... Передайте русским, что я проклинаю их: они научили вас убить меня. За меня отомстят». — «Зачем ты долбишь железом камни?» Он усмехнулся и ответил: «Вам все равно не понять, даже если я скажу зачем...» Потом он вынул из-за пазухи желтый кружок, на нем была нарисована женщина.

Одноглазый индеец вырвал кружок из рук пришельца и передал Ке-ли-лын.

«Кто это?» — спросила она, сощурясь.

«Моя жена...»

Дочь Ворона выпрямилась и крикнула: «Ты охотился за высоким русским. Думал ли ты, что есть женщина, которая думает о нем? Отвечай, нечистый человек!» Он молчал, опустив голову, Ке-ли-лын бросила кружок себе под ноги. Он блеснул и закружился по твердому



насту. Белый потянулся за кружком, но Одноглазый ударил его по руке копьём. Пришелец застонал и крикнул девушке: «Волчица!» — «Дочь Ворона», — ответила она. В это время черные вороны слетались на окрестные деревья. «Не думай, что тебя будут клевать священные птицы», — заметила девушка. Человек с совиными глазами содрогнулся. «Ке-ли-лын, — сказал тихо Одноглазый, — я давно никого не убивал. Я его убью...» Она кивнула головой.

Одноглазый заставил белого стать у высокого дерева и, держа копьё обеими руками, всадил его в грудь убийцы. «Мы не песцы, чтобы обдирать труп!» — сказала Ке-ли-лын и запретила раздевать белого. Его мешок, оружие и такие вещи, какие есть у тебя, — вот что только взяли мы. Тело мы унесли на копьях к Квихпаку. Ты сам не раз измерял, насколько толст лед, и не тебе рассказывать, как долго долбили мы его копьями и ножами. Чтобы согреться, мы развели костер. Наконец вода заколыхалась в глубокой проруби. Одноглазый воин схватил труп. Он никак не хотел идти под лед и долго выскакивал из воды. Тогда Одноглазый поставил свою ногу на макушку белого и держал ее до тех пор, пока на белом не намокла одежда и он не ушел под лед.

Вот и весь мой рассказ... Белый Горноста́й. Прими подарки Ке-ли-лын и оцени ее мужество. Ей нужно было родиться мужчиной и

воином... Теперь подойди ко мне и вытащи еще одну красную нить из другой мочки. Мы свершили то, в чем поклялись!

Загоскин вскочил на ноги.

— Где мешок убитого, Кузьма?

— Помолчи и сядь на место, русский тойон, — сказал вместо ответа индеец, — мы развяжем мешок, когда придем в индейское селение. А сейчас я подложу хвороста в костер, а ты завернешься в плащ и заснешь. Ты будешь спать долго, а когда выспишься, мы пойдем к индейцам. Слушайся меня... Лыжи прислала тебе тоже она.

И индеец Кузьма взмахнул трубкой с орлиными перьями, выбивая из нее серый пепел.





ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Белый убийца мог бы еще жить. Раз, два, три, четыре, еще два да один заряд я истратил на сову. Семь! Семь смертей для детей Ворона! Но он их так далеко упрятал в свою сумку, что не смог сразу достать, а может быть, даже и забыл, что они у него есть. Я ничего не трогал. Маленькое ручное ружье взяла себе Кели-лын. Остальное лежит все перед тобой, Белый Горноста́й. Ты видишь, что я прав. Нельзя, чтобы сердце было всегда напряжено, как тетива лука. Ты спал у костра, спал здесь, и кровь твоя течет ровно. Теперь мы заняты делом.

Так говорил индеец Кузьма. Слабый свет проникал в окно, затянутое кожей налима. Семья индейцев сидела в углу хижины, рассматривая своих гостей. Загоскин вынимал из походной сумки один предмет за другим. Сверху лежал молоток с отъятой ручкой — с

такими ходят разведчики руды,— затем свернутое вчетверо цветное одеяло. В недрах его покоились буссоль, циркуль и чистая бумага вместе с карандашами, кистью, красками и твердой тушью, заключенными в металлический футляр. Банка с крупным черным чаем, галеты, кусок солонины, завернутый в газету «Земной шар», теплое белье, коробка мармелада. Кажется, все...

— Вот что, Кузьма,— сказал Загоскин,— отдай это все индейцам! — И он отодвинул в сторону одеяло, мармелад и солонину.— Галеты и чай пригодятся нам. Положи их в свою сумку...

Кузьма с увлечением начал делить подарки. Концом своего сверкающего ножа он распорол одеяло на четыре части и роздал куски женщинам.

От восторга они прикрыли глаза жесткими и длинными ресницами.

Солонину бросили в общий котел. Потом Кузьма вышел из хижины, собрал всех индейцев и роздал им по куску разноцветного мармелада, показав наглядно, как надо поступать с ним. Восторгам не было конца. Старые воины старались как можно дольше продержать мармелад во рту. Один седой старик предлагал даже выменять свой старинный, весь избитый стрелами деревянный щит на второй кусок лакомства.

— Мне все равно уже не воевать,— говорил

он, заглядывая в глаза Кузьме, но тот остался непреклонным.

— Щит еще хороший,— ныл старик,— он побывал в битвах и выдержал все: стрелы кенайцев, дубины жителей моря... Бей его хоть куском небесного камня — он не расколется... Клянусь Великим Вороном!

— О каком небесном камне ты говоришь? — быстро спросил Загоскин старика, услышав его клятвы у порога хижины. — Зайди сюда, старый воин.

— Камень упал с неба... Он горел в небе, потом остыл и почернел. Он был большой, но когда Великий Ворон выронил его из когтей, он разбился. Когда камень падал, ночь сделалась светлой от горящего облака...

— Когда это было?.. Кузьма, расспроси его как следует и хорошо все запомни. А сейчас скажи, старый воин, где этот камень?

— Он у меня,— обрадовался старик так, что волчьи клыки в его ожерелье запрыгали на тощей груди. — Дай мне сладкого льда, и я сейчас принесу камень, упавший с неба.

Так был добыт осколок юконского метеорита — темный камень, покрытый сверху почти прозрачной коркой.

Загоскин сказал, чтобы Кузьма спрятал камень на дно мешка.

— Тут есть что-то еще! — обрадованно крикнул Кузьма. Он нащупал твердый комок в углу сумки.

Это был мешочек из замши, перевязанный красной шелковой ниткой.

— Он маленький, но тяжелый, — сказал Кузьма, подбрасывая мешочек на ладони.

Загоскин взял мешочек из рук индейца и торопливо развязал шелковую нитку. Его ладонь мгновенно отяжелела, когда он высыпал на нее плотные, чуть мерцающие зерна. Он не верил своим глазам. Кровь отлила от сердца, потом стремительно возвратилась и застучала в висках.

— Золото... — пробормотал Загоскин. — Бог мой... Он искал золото и нашел его. Кузьма, понимаешь ли ты, что это значит?

— Ты знаешь больше меня, русский тойон, — бесстрастно ответил Кузьма, выпустив клуб табачного дыма. — Детям Ворона золото не нужно. Наша дорога — под знаком Великого Ворона. Что такое золото — я знаю: вот у попа Ювеналия был золотой крест, потом — золото на плечах у русских тойонов. Может быть, и кружок с женщиной у белого убийцы был из золота?

— Кузьма, видел ли ты золотые кружки и кресты на груди у русских тойонов? Так вот теперь тебе дадут такой кружок на грудь. Я попрошу об этом главного русского тойона в Ситхе. И это за то, что ты меня спас, за то, что — пойми ты — мы с тобой узнали, что на Квихнаке есть золото.

Кузьма кивнул головой и засмеялся:

— Зачем мне крест или кружок, тойон? Пусть лучше дадут их тебе, а индейца Кузьму вместо награды отпустят жить, где он хочет.

— Мне их никогда не дадут, Кузьма! Как тебе это рассказать?.. Русские тойоны когда-то сняли золото с моих плеч вовсе не для того, чтобы его мне возвратить. Ты тоже никогда не получишь свободы. Мы оба с тобой аманаты. Понимаешь теперь?

Загоскин быстро заходил по хижине. Его тень мелькала то на окне, затянутом налимьей кожей, то на стене.

— Стоит ли из-за золота меняться в лице? — спросил Кузьма. — Пусть оно лучше лежит в земле, в камнях. Твои плечи крепки и широки и без этого золота. Сердце твое — смело и смелей не будет, если ты будешь носить против него золотой кружок.

— Ты индеец, я русский. Желал бы ты добра своему племени? Я не получу ни пылинки золота Квихпака, даже если его было бы много, если бы целая гора, как Эджкомб в Ситхе, целиком была золотая. Но я не могу скрыть от своего народа то, что мы нашли.

— Ты знаешь больше меня, Белый Горно-стай, — сказал индеец Кузьма задумчиво. — Мне всего этого не понять. Теперь посмотри на клочки бумаги, которые я подобрал, когда мы убивали человека на широких лыжах. Я спрятал их за пазуху. — Индеец протянул Загоскину зажатый в кулаке бумажный ком.

Они долго расправляли обрывки плотной бумаги, раскладывая их на полу.

Работа продолжалась до вечера, когда хозяйка хижины зажгла светильник из мамонтова зуба с выдолбленной в нем лункой для жира.

— Сын Ворона! — крикнул Кузьма. — Дай нам вон тот старый гладкий щит. Мы тебе хорошо заплатим за него. Смотри, русский тойон, что я придумал. Облей щит водой. Теперь мы наложим все эти куски бумаги на щит и вынесем его на холод.

Загоскин рассмеялся. Как ему самому не пришла в голову такая простая мысль? И вскоре на поверхности гладкого щита возникла карта бассейна Юкона. Пуская дым из трубки, Кузьма внимательно разглядывал наспех сделанный чертеж.

— Иноземец ошибся здесь, — говорил Кузьма. — Эта большая вода — не залив, а озеро Ментох. И тут... Ты ведь знаешь, что Квихпак одна река — от моря до гор, что делить ее нельзя, как нельзя делить ветвь на дереве. То, что я чертил тебе на снегу, вернее, чем это. Но, клянусь святым Николой, видно, что убийца прошел от Великих Гор до устья Нулато, на этом пути ошибок у него нет! — Черный ноготь индейца скользил по чертежу.

На притоках Квихпака всюду виднелись кружки; некоторые места были заштрихованы.

— Где вы его убили? — отрывисто спросил Загоскин.

— Вот здесь, — ответил Кузьма, глядясь в чертеж. — Конец речки, ущелье, россыпь камней, тут — дерево, с которого Одноглазый пускал стрелы в иноземца.

Загоскин взял карандаш и поставил черный крест на месте, указанном Кузьмой.

Потом жадно накинудся на газету. Как давно не видел он печатного слова — хотя бы нужного! Газета «Земной шар» писала о русских людях на Юконе. Он с удивлением нашел свое имя в списке открывателей. В статье упоминались Колмаков, Глазунов, Лукин.

«Следят за нами соседи...» — подумал Загоскин.





ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наступил северный май. Снег подернулся сизой пеленой. В полдень ветви голубых елей сияли на солнце, и от них шел легкий дымок. Весна Аляски! Загоскин чувствовал, что, несмотря на лишения, сердце бьется ровно и радостно. «Не меняйся в лице; этого каждый может достигнуть», — повторял он про себя совет индейца.

Как-то он увидел сон. Миндаль в цвету, полоса песка у морского мелководья в Ленкорани, глинобитные дома. За пыльным городом — зеленые лесистые горы; в них бродят кабаны, цветут фиалки, рокочут ключи.

Оборванный талыш — горец с орлиным носом — провел Загоскина на поляну, вокруг которой росли дикие каштаны и ореховые деревья. В прохладном ложе медленно текла совершенно прозрачная студеная вода. Это был

источник Дамчй-Булак; вода его падала откуда-то сверху, по капле. Мгновение — звонкий хрустальный щелчок! Потом другой, третий — и так до бесконечности... «Счет жизни», — думал Загоскин. Он отыскал в траве фиалку и бросил ее в воду, загадав — попадет ли цветок под падающую каплю? Фиалка долго кружилась в водоеме. Но вот ее сбilo хрустальным щелчком, и крупная капля вошла в цветок, погружая фиалку на дно. Все! И снова звонкие и чистые звуки и мерное покачивание воды.

Он сорвал с ближнего дерева лист и приложил его ко рту, как это делают дети. Загоскин хотел, чтобы звуки капель и листьев совпали, но капли опережали его, и звуки ни разу совпасть не могли. В тот день он поздно вернулся на корабль счастливым и усталым, с фиалками в петлице мундира, и суровый старший офицер лишь улыбнулся, увидев эти цветы.

Капли источника Дамчи-Булак звенели в этом сне, и Загоскин ощутил на лице прохладу. Он вскочил и рассмеялся; ствол сосны был то желт, то красен от солнца, лохмотья подтаявшего снега падали с ветвей. Загоскин внезапно нахмурился и растолкал Кузьму, дремавшего на ложе из хвои:

— Собирайся, Кузьма! Нам надо идти, пока не тронулся Квихпак, пока снег не сошел. Если небесный камень давит тебе на спину — скажи; мы будем нести мешок по очереди.

Рыхлый снег прилипал к лыжам. Кое-где на пригорках из-под талых сугробов проглядывала чахлая трава. Иногда путники проваливались в снег и потом долго отряхивали ноги, обутые в толстые сапоги из горловины морского льва. Лыжный след наливался водой. Загоскин оглядывался и видел, как за его спиной оставались на снегу нескончаемые голубые полосы. Ночевать теперь приходилось на деревьях. Кузьма рубил ножом тонкие жерди и укреплял их между стволами елей — на высоте человеческого роста. Потом на решетку из жердей клали ветки; на этой качающейся постели путники спали по очереди, сторожа один другого.

Весеннее тепло было ненадежным. Снег оставался крепким только в лесных лощинах и надах, а суровый ветер с севера предвещал возвращение холодов. И однажды последняя стужа ударила по уже тающим снегам, и они снова застыли. Теперь белые гряды снега и мерзлые торфяные кочки были настолько тверды, что приходилось бояться за целость лыж.

Ночью в небе заиграл сполох. Страшное и торжественное зрелище открылось людям. Холодное пламя металось от одного до другого края земли, непрестанно меняя свои очертания и цвет, — волшебное, стремительное и неуловимое! Загоскин смотрел в пылающее небо и вспоминал оду Ломоносова. Слезы замерзали

на его ресницах, и сквозь них Загоскин видел ледяные венцы, отливающие то багрянцем, то лазурью. Пламенные столбы вставали и рушились над землей, и снопы света плыли посредине небосвода. Снега горели; сизое пламя металось по ним, и леса были погружены в это пламя до половины стволов. Тени от идущих людей были огромными; они, двигаясь, перекрывали пылающие снега. Загоскин с Кузьмой всю ночь шли в этом пламенном царстве и не заметили, как наступило утро. Наконец они увидели серый лед Квихпака и знакомое зимовье. Сердце Загоскина сжалось от тоски. Он подумал о том, что будет сейчас, когда запоят ржавые и заиндевевшие дверные петли кладовой, где лежит тело креола.

Загоскин и его спутник молча вошли в ворота «одиночки». Кузьма показал на голову креола, дотронулся до пряди волос, опаленных выстрелом; убийца стрелял в упор. Кузьма коснулся ногтем уха креола; оно было твердо, словно камень. Индеец вопросительно посмотрел на Загоскина. В полутьме слабо блестела пороховая пыль на бочонках. Люди безмолвно взяли труп креола и вынесли его из кладовой. Загоскин сказал Кузьме, чтобы он перетащил пороховые бочонки за палисад «одиночки».

Индеец, быстро справившись с этим делом, остановился передохнуть и закурить трубку. Загоскин перекатил бочки в одно место и рас-

ставил их в два тесных ряда — днищами вверх. На них снова было водружено тело убитого. Загоскин расстегнул ворот меховой одежды на трупе и вытащил кипарисовый крестик на серебряной цепочке. Креол был крещеным; Загоскин узнал это еще потому, что на пальце убитого тускло светилось серебряное кольцо с надписью синими буквами.

«Преподобный отче Сергей, моли бога о нас», — прочел Загоскин, оборачивая кольцо вокруг промерзшего пальца с голубоватым ногтем. Как звали креола? Загоскин пошел в зимовье и стал перелистывать холодные страницы книги приема мехов... «...Савватий Устюжанин... Савватий... Савватий», — повторял Загоскин, как бы боясь, что забудет это имя.

— Ну, Кузьма, начинай!

Индеец выбил трубку и вынул огниво. Он высек огонь, а трут приложил к стенке порохового бочонка. Сначала белый, а потом желтый и алый огонь засновал между бочками. Скоро шумное пламя, изгибавшееся на ветру, скрыло тело убитого. По дорожке, покрытой пороховой пылью, Кузьма прикатил еще две пустые бочки, сбил с них обручи и стал подкладывать в костер черную клепку. Стоять у огня было жарко.

— Упокой, господи, душу раба твоего Савватия, — сказал Загоскин. Запнулся и добавил: — Убиенного...

Он вскинул ружье и дал знак Кузьме. Слабый залп всколыхнул тишину. Без шапок, с заиндевевшими волосами, они долго стояли у огненной могилы креола. По звонким красным углям перебегали редкие синие огни, горячий пепел лежал высоким сугробом. Загоскин и индеец Кузьма перекрестились и вошли в зимовье, унося на своих лицах тепло костра.

В тот день они сколотили грубый крест из двух жердей, и Загоскин вырезал ножом надпись: *«Савватий Устюжанин, креол. Приказчик Российско-Американской компании. Злодейски убит на реке Квихпак в марте 1842 года...»*

Крест прислонили к стене зимовья.

Они отдыхали в «одиночке» и ждали, когда тронется Квихпак. Однажды ранним утром услышали глухой гул и мерное гроыхание, похожее на пушечные выстрелы. Вода в реке прибывала, серый лед покрылся звездчатыми изломами и уже отделялся от берегов. Дня через три великая река забушевала. Зеленые и прозрачные льдины — малые и большие — нагромождались друг на друга и стонали. Вода стекала с боков льдин, устремлялась в клокочущее русло и снова кидалась на льдины. Вырванные с корнем деревья мчались в ревущем водовороте.

Сырой и плотный ветер срывал лосиный плащ с плеч Загоскина. А он, наклонившись

над kloкочущим руслом, взявшись левой рукой за прибрежный куст, измерял скорость бешеного течения.

В это время Кузьма, расхаживая по двору «одиночки», собирал и складывал в кучу снасти, которыми когда-то пользовался креол Савватий. Индеец любовно починил старые ивовые верши — для лова нельмы и налимов; ими особенно славились здешние места. Когда река утихла, Кузьма расставил ловушки, и скоро в еще мутной воде тускло заблестело тяжелое серебро. Индеец вытаскивал из верши за жабры больших сверкающих рыб с крупной чешуей. Они дышали порывисто и быстро, пока индеец не надламывал им хребет. Точно так же в детстве делал и Загоскин, ловя больших голавлей.

Кузьма сидел на солнце и тихо пересчитывал свою добычу. Он был окружен табачным дымом, сквозь дым проходил солнечный свет. Загоскину показалось, что когда-то, очень давно, он видел все это — вплоть до чешуи, прилипшей к ногтям Кузьмы, до бликов света на его лице.

Солнце играло на поверхности широкого ножа индейца, когда он ловкими ударами распластывал рыбу. Становилось так тепло, что отсырела соль, хранившаяся в зимовье. Кузьма нашел старый бочонок, сложил в него нельму, посолил, а через несколько дней повесил ее вялиться на сушила.

— Отдохни, Белый Горноста́й,— говорил он Загоскину, заходя в зимовье и видя, как тот, сидя за сосновым столом, сосредоточенно разбирает свои бумаги.— Долгий путь еще предстоит нам. Слушай, русский тойон,— добавлял он лукаво,— я солю рыбу, мне некогда, а я забыл в Бобровом Доме второй нож...

Разговор о забытом ноже возобновлялся несколько раз. И каждый раз Кузьма выразительно вздыхал и уходил к своим вершам, оставляя русского друга в хижине склоненным над столбцами записей метеорологических наблюдений.

Однажды Кузьма вбежал в зимовье, чуть не наступив на расстеленный прямо на полу лист с наброском чертежа реки Квихпак.

— К нам плывет человек! — кричал Кузьма.

Загоскин поднялся, накинул плащ, взял ружье и пошел к берегу. Молодой индеец, скаля белые зубы, ловко выпрыгнул из челнока и подошел к Загоскину, сложив у его ног копьё и нож. Потом он почтительно спросил у старого индейца разрешения закурить и вынул из-за пояса трубку с кистью из перьев глухаря. Все трое присели на борт лодки креола.

— Наш старый тойон,— сказал гонец,— всю зиму глядел в берестяную чашку. Он только пил и ничего не ел, кроме желтой ягоды. Тойон высох, как щепка. Он никуда не выходил из хижины, забыл обо всем. Наши люди

забросили охоту, чужое племя забрало себе лучшие места звериной ловли. У нас начался голод. Мы ели ездовых собак, а потом — кожи налимов и ремни упряжек. В окна пришлось вставить лед. Тогда девушка Ке-ли-лын пришла к самому храброму воину нашего рода — ты его знаешь, — сказала: «Помоги мне!» Одноглазый пошел с ней в хижину тойона. Ке-ли-лын приказала старому воину схватить пьяницу и увести его в землянку, где живут рабы — калги... Тойон сначала думал, что это сон, потом опомнился и заплакал. Рабы толкали его и радовались горю тойона. Теперь он живет там, Ке-ли-лын взяла его копье, меч, нож и калюмет, который курят, когда заключают мир. Она надела на себя рубаху из костяной чешуи, отобрала у тойона боевой шлем. Она, пойми, брат моего отца, сама стала тойоном. Такого случая не помнят старики на всем Квихпаке! Она начала войны и охоты, захватила у чужого племени бобровые плотины, взяла в плен воинов и обратила их в рабов. Мы давно не воевали; теперь нас боятся враги. У нас много мяса, сушеной рыбы и звериных шкур... Теперь, брат моего отца, скажи мне сразу: нужно ли что от нас русскому тойону и тебе? Я посланец Ке-ли-лын и могу делать все, что вы захотите. Она сказала: «Садись в челнок и спешь к русскому. Узнай, не заболел ли он и его друг? Нет ли у них черной болезни, от которой выпадают зубы? Нужны ли русскому

наши воины для охраны его в пути? Свези им желтой ягоды, лосиного мяса и рыбы». — При этих словах индеец довольно улыбнулся. — Ке-ли-лын еще сказала, что если сюда придут чужеземцы искать человека с круглыми глазами, то дети Ворона убьют пришельцев. Клянись своим коньем, что, если мы не одолеем пришельцев сами, Ке-ли-лын пошлет за помощью в Ситху. Вот, Белый Горноста́й, что́ я передаю тебе. Возьми кусок бересты, сделай на нем изображение горноста́я в знак того, что я был у тебя.

— Это велела сделать Ке-ли-лын, чтобы знать, был ли ты именно у нас? — усмехнулся Кузьма. — В твои годы и я мог бы забыть, что мне надо делать... Ладно, русский тойон делает то, о чем ты просишь. Что ты скажешь еще, победитель трех медвежат? — И Кузьма ласково похлопал молодого индейца по спине.

Загоскин держал в руках бересту, солнце слегка пригревало пальцы. Он обдумывал, что ему надо передать Ке-ли-лын, но никак не мог подобрать слов; Загоскин вдруг ощутил, что он в эту минуту думает по-индейски.

— Слушай, сын Ворона, — сказал он молодому индейцу, — зайдём в нашу хижину.

В хижине креола Загоскин раскрыл остроногий циркуль и начертил круг посредине куска бересты. Он обвел его границы красным,

затем нарисовал внутри круга горностая. Оставалось только начертать воду в виде широкой темно-синей полосы и украсить рисунок изображением трубки с кистью из перьев. Молодой индеец, затаив дыхание, смотрел через плечо Кузьмы на блистающие краски.

— Белый Горностай идет берегом великого Квихпака, с ним старый индеец из Ситхи. Согласие и мир соединяют их — так говорит береста! — воскликнул посланец из Бобрового Дома.

Все трое, как по уговору, переглянулись и отошли от стола, оставив бересту на нем, чтобы просохли краски.

— Что сказать Ке-ли-лын? — спросил индеец у Загоскина.

— Скажи, что русский желает ей и всему Бобровому Дому удачи... что русский помнит ее... что мы здоровы. Я скажу главному русскому тойону в Ситхе, чтобы он дал вам муки, пороху, снастей для рыбы, ловушки на зверя... Теперь Расскажи мне о весне в индейской стране. Я жду времени, чтобы выйти к Кускоквиму.

— Земля проснулась, Белый Горностай. Когда я плыл меж берегов Квихпака, я слышал, как стучат рога лосей в лесах. Молодые лоси скачут на полянах; это к большому теплу. Лососи скоро пойдут в реки; мимо моего челнока они уже проплывали, и плавники их чуть не на палец высывались из воды. Медведи

проснулись и вышли к берегам. Все это к теплу. Но куда ты хочешь идти?

Индеец вдруг поманил к себе Кузьму, отошел с ним в сторону и стал что-то шептать ему на ухо. Оба они при этом улыбались, а Кузьма покачивал головой. Посланец, улучив мгновение, снова прикивал к уху Кузьмы.

— Он зовет нас в Бобровый Дом — отдыхать, есть медвежатину. Для нас сварен веселый напиток из сладкой травы, — сказал Кузьма Загоскину. — Нечего, мальчик, шептаться со мной, я передаю все русскому тойону. Теперь ты понимаешь, что никакого ножа в Бобровом Доме я не оставлял... Что ты ответишь Ке-ли-лын?

Загоскин подошел к сосновому столу, облокотился на него и погрузился в раздумье. Табачный дым поднимался из трубки. Сердце щемило.

Пойти в Бобровый Дом?.. Но ведь это можно сделать всегда! А дело, подвиг? Ведь он имеет единственное не отнятое у него право на свершение подвига... Надо научиться не меняться в лице. Ке-ли-лын! Неужели он слабее своего сердца? Можно ли быть снежинкой, тающей на лезвии ножа? Он явственно увидел индианку — ее глаза, губы и синие ресницы. Вся его жизнь предстала перед ним. Она звала его на подвиг, и он с беспощадной ясностью понял, что на время должен быть одиноким. Он хотел затянуться из трубки, но увидел, что она

погасла. Загоскин выбил пепел и повернул голову к индейцу.

— Мы не придем в Бобровый Дом, — сказал он твердо. — Нам надо спешить к Кускоквиму. Кузьма, готовь лодку, завтра мы поплывем. Спасибо тебе, сын Ворона, твоему роду, девушке Ке-ли-лын за все. Когда-нибудь я еще увижу всех вас.

Вода Квихпака колыхалась у их ног, когда они провожали молодого индейца. Тот, перед тем как сесть в лодку, выдернул из мочки синюю шерстяную нитку: он исполнил то, что было повелено ему. Солнечные лучи освещали реку.

Индийская лодка качалась на горбатых волнах, гребни волн были то золотые, то темные. Посланец из Бобрового Дома ловко работал двухлопастным веслом.

— Ну вот и все, — сказал Загоскин, когда индейский челнок исчез за поворотом реки.

— Слушай! — промолвил Кузьма, подняв палец.

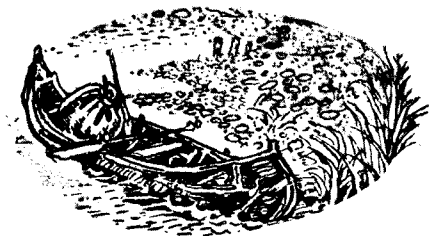
Звуки серебряных труб проносились высоко в небе: с юга летели лебеди.

— Мы живы, Белый Горноста́й, и слушаем лебедей... Помнишь, как мы с тобой погибали в метели? Можешь сердиться на меня — знаю, что ты не любишь этих речей, но, клянусь святым Николой, я не могу понять, что́ творится в Бобровом Доме. Когда Ке-ли-лын отняла власть у тойона, молодые индейцы стали сва-

таться к ней, но она не смотрит ни на кого. Вот этот мальчик, добытчик трех медведей, жаловался мне: он пробовал ее как-то обнять, но она ударила его тупым концом копья так, что он еле устоял на ногах...

Кузьма испытующе посмотрел на своего друга. Лицо русского было спокойно и щеки гладки, как камни. Шрам, полученный в деле при Куринской банке, белел под глазом. И в серых глазах Загоскина индеец Кузьма не мог прочесть на этот раз ничего.





ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Старый индеец знал, что им придется проплывать мимо Бобрового Дома. Сверкающая вода Квихпака обнимала их лодку; индеец сидел на корме и то и дело вычерпывал воду берестяным ковшом; ноги путников промокли, и Кузьма даже начал кашлять. Чтобы прогнать кашель, он решил беспрерывно курить.

В эти дни Кузьма сделался задумчивым. На привале, при свете костра, он сосредоточенно разглядывал следы старых ран на груди и руках. Летопись простой и трудной жизни. Кузьма объяснял Загоскину значение этих знаков. Узловатый шрам у третьего ребра — память о том, как Кузьма еще подростком вздумал приручать молодого лося. Длинная борозда возле ключицы — след от копыта эскимоса. На руке круглый белый знак, как бы разделенный внутри на лепестки, оставлен стрелой индейца с острова Ванкувер. Кузьма тогда

выдернул наконечник каменной стрелы вместе с мясом, затем вложил мясо обратно в рану и затянул пораненное место тугой повязкой. Кожа приросла. Рана эта была получена, когда Кузьма ездил с отрядом русских промышленников в залив св. Франциска.

Особенно любил он показывать рубец от медвежьего когтя на предплечье. В рубец можно было вложить палец.

— Смотри, сколько у меня рубцов, Белый Горноста́й, — с гордостью сказал Кузьма. — А у тебя только один. На бедре у меня есть еще знак — орлиная лапа; когда-нибудь я тебе его покажу. — Индеец опять запыхтел трубкой.

— Ты лучше береги табак, Кузьма, — ответил Загоскин, — а то потом нам нечего будет курить.

— Ско́лько рубцов у меня, охотника и воина, а на сердце ни одного, — продолжал свой разговор старый индеец. — Не как у тебя, Белый Горноста́й, — добавил он с каким-то упорным озорством.

— Ты стал болтлив, как старая баба, — сухо сказал русский. — Лучше иди к лодке, вычерпай воду и зачини берестой щели. Иначе мы когда-нибудь пойдем ко дну. Понял?

— Иду, иду, — поспешно откликнулся Кузьма, взмахнув по привычке трубкой.

И они поплыли вверх по реке. Загоскин работал двухлопастным веслом, мокрая от нота рубаха облепляла его спину. Он давно сбросил

лосиный плащ, и тот торчком возвышался над дни лодки. Но вот вдалеке показался Бобровый Дом. Кузьма молчал и даже не глядел в сторону Загоскина. Ветер донес до них теплое дыхание очагов, запах жилья, звуки собачьего лая. Загоскин встал во весь рост в лодке.

Кузьма понял безмолвное приказание и взял весло.

— Греби вовсю, насколько хватит у тебя силы! — сказал Загоскин, опускаясь на лавку и направляя лодку прямо на середину реки. С возвышения на корме ему было хорошо виден берег, на котором стоял Бобровый Дом. Он вспомнил мерзлые ивы. Они сейчас влажно светились на солнце. И вдруг в его глаза ударил горячий и живой свет. Алый костер бушевал на отмели возле Бобрового Дома. Толпа индейцев с поднятыми копьями плясала возле пламени. Лодка качалась, и костер как бы метался между водою и небом, а поднятые копья летели к облакам.

Индейцы, заметив лодку, выхватили из костра пылающие ветви и застыли в торжественном молчании. И Загоскин увидел девушку-тойона Ке-ли-лын. Она в алом одеянии и кольчуге из мамонтовой кости стояла возле самого костра, и по ее лицу пробегали тени от дыма и свет пламени. И вновь сила, которая была крепче его сердца, неудержимо повлекла Загоскина на зов костра. Ему сначала казалось, что лодка погружается в грохочущий



пенный водопад. Потом он перестал сознавать происходящее.

Кузьма яростно работал веслом. Загоскин дотронулся до плеча индейца и велел ему грести тише.

— Мы будем отдыхать в устье притока, — сказал он.

Когда они отыскиали там место для привала, Загоскин сделал засечки буссолью, определив местность, и улегся спать. Спал он долго — часть дня, вечер и всю ночь. Пробудился спокойным и веселым и долго слушал шум большой ели, ветви которой закрывали от него часть неба. Теперь он решил объяснить Кузьме все. Тот, узнав, о чем хочет говорить с ним русский, от удивления даже вынул костяную «колюжку» из губы. И действительно, Кузьма не верил своим ушам. Белый Горноста́й, смотря прямо в лицо индейцу спокойными серыми глазами, щурясь от табачного дыма, коротко и просто разъяснил ему всю загадку, так долго мучившую Кузьму.

— Ты, старый охотник, и воин, и мой друг, Кузьма, — говорил русский, — думаешь обо мне, как о мальчике, и не можешь понять моих поступков. Мы шли и идем с тобой вместе, вместе делим хлеб и опасности. Более того, ты спас меня, Кузьма. Ты, кажется, научил меня не меняться в лице. Спасибо тебе за все. Много разных людей видел ты и сам говорил мне, что похожих друг на друга душ нет на свете. Так

знай, почему я не пошел к девушке Ке-ли-лын. Я не смог бы уйти от нее никогда — так говорит мне моя душа.

— Ну и жил бы в Бобровом Доме... И я с тобой — начальником воинов у Ке-ли-лын. Я знаю больше Одноглазого и мальчика, убившего всего трех медвежат... И все было бы хорошо!

— Ты забыл, кто я! Могу ли я, слуга главного русского тойона в Ситхе, уйти жить к немирным индейцам? Да нас с тобой обоих посадили бы тогда на железную веревку!

— Ке-ли-лын любит тебя...

— Пусть так... Но ты знаешь, что в жизни не все свершается так, как мы хотим.

— Слава Ворону! Ты, Белый Горноста́й, наконец сознался старому Кузьме в том, что любишь ее. Больше мне ничего не надо. Тебе теперь остается одно: улыбаться, как алеуту, которому отрезают ногу. Чаще всего он отрезает себе ногу сам. Я не буду смеяться теперь над тобой, мне понятно все. Ты боишься власти сердца... Это бывает. И ты отрезаешь ногу... Знаешь, что я скажу тебе, Белый Горноста́й. Ты воин, ты все-таки воин! А теперь я тебе открою одну тайну. Другому я не сказал бы, и другого ты за эти слова мог бы осудить, а меня ты простишь. — У индейца Кузьмы были слезы на глазах, которыми он видел сотни врагов и сотни зверей. — Знаешь, отчего дрожала моя рука, убившая столько врагов в честном бою?

Когда мы с Ке-ли-лын гнались за индейцами Демьяном и попали в метель — я уже рассказывал тебе об этом, — мы лежали вместе с собаками, прижимаясь друг к другу, чтобы узнать — живы ли мы. И вот тогда, Белый Горностай, на моих глазах выступили слезы. Я подумал, что ушли годы и я не могу любить таких крейких и сильных девушек, как Ке-ли-лын! Я слышал, как она дышит рядом со мной. И вот тогда, когда на моих глазах дрожали слезы, я услышал, как ее пальцы коснулись моего лица и пробежали по нему — от лба до узоров на щеках. Ведь мы не видели друг друга, и она хотела концами пальцев узнать, не заснул ли я, а ты сам знаешь, что спать в метель нельзя! И слезы старого воина остались на ее пальцах! Но она не отдернула их, притворилась, что ничего не заметила, и сжала мне локоть. Я толкнул ее руку — в знак того, что я жив! И она не подала никакого знака, что видела концами пальцев мое горе. И я тогда подумал другое: как хорошо тебе и ей, что вы можете любить друг друга! И я, клянусь святым Николой, едва не разревелся снова. Наутро, когда мы выкопали нарты из снега, я посмотрел на Ке-ли-лын, и мне показалось, что ее глаза будто бы стали темнее. И она спросила, есть ли у меня семья. Я ответил, что жену отнял когда-то у меня поп Ювеналий, а дети умерли от черной болезни после того, как меня взяли в аманаты. Она опустила на мгновение

голову, а потом вскочила на нарты, и мы погнались за Демьяном. Все! Больше ты ничего не услышишь о слезах воина... Делай со мной что хочешь, Белый Горностаи!

Загоскин шутя замахнулся на индейца прикладом английского ружья. Железная рука Кузьмы вырвала холодный ствол из рук русского.

— Я еще силен! — закричал Кузьма во все горло и, отбросив в сторону ружье, стал бороться с Загоскиным.

Они катались по почерневшим листьям прошлогодней брусники, влажная хвоя приставала к их телам. Наверное, и Загоскин и Кузьма оба понимали, что вся эта шутливая борьба имела одну цель — скрыть друг от друга свои чувства. Старый воин притворно кряхтел, заключая русского друга в тесные объятия и силясь опрокинуть его навзничь. Но Загоскин ловко подставил Кузьме ногу, и индеец рухнул на землю, едва не стукнувшись затылком о ствол поваленной сосны.

Смеясь, как дети, они лежали на пригорке, где солнце уже пригревало мох и бледную траву. Потом они достали трубки, выбили огонь из кремня и, как по уговору, замолчали. Все вокруг молчало, а слабый ветер казался Загоскину большой невидимой птицей. Она летела в волшебную, не открытую никем страну, и тонкий шелест огромных крыл приводил в трепет сердце путника. «Все живет, и я

живу во всем» — так думал Загоскин и старался охватить взором и душой все проявления великой жизни.

Тень на прибрежном песке, вздрагивающая на солнце вода, ожившие муравьи, смола, тающая на стволах сосен, далекий крик ушастой гагары — во всем этом он находил как бы частицу своего существа. И он повторял про себя блаженные слова: «Я — живу». Ему нравилось чувствовать, как движется кровь в его жилах, смотреть на солнце сквозь свою ладонь. Он так исхудал от скитаний и лишений, что пальцы его стали почти прозрачными, а лицо — острым и твердым. У него отросла длинная русая борода, а волосы падали кольцами на лоб и шею. Свое отражение он увидел в толстом стекле карманных часов, которые он положил на ладонь.

— Ты ничего не слышишь? — вдруг тихо сказал Кузьма и поднялся с пригорка. — Раз и еще... Помолчи и не шевелись, Белый Горноста! Я сейчас приду.

Кузьма бесшумно подкрался к лесу, на ходу взводя курок ружья. Лес поглотил его, как будто навеки. Но вскоре раздался выстрел, и индеец, торжествуя крича, выбежал из-за сосен. В вытянутой руке он держал большого глухаря.

— Как ты узнал, Кузьма, о нем?

— Я давно слышал, как он где-то близко от нас еле слышно скрипел крылом. Потом надло-

мился сучок, когда он сел на ветку. Он пошевелился на дереве еще раз, и тогда упала шишка; она стукнулась о корни. И теперь я его убил... Сколько птиц убил я за свою жизнь!

...Так они блуждали в низинах на водоразделе Квихпака и Кускоквима, ели нельму с морошкой, темное мясо глухарей. На берегах рек все чаще попадались следы медведей; зверь чуял, что скоро начнется ход красной рыбы.

Вешними водами вымывало темные кости из речных берегов. Носорог, мамонт, олень, овцебык... Если костей было много, Загоскин заставлял Кузьму на каждом привале стаскивать все находки в одно место, бережно складывать их в одну грудку и ставить приметный знак где-нибудь поблизости. Кузьма недовольно ворчал, когда Загоскин заставлял его чинить карандаши. Этого занятия индеец почему-то очень не любил.

— Опять мне приходится строгать пишущие палки, — недовольно говорил Кузьма. — Мне легче убить медведя, чем делать это. У белых людей хватает терпения... — И он сдувал с морщинистых пальцев черную пыль.

Вот Белый Горностай! Он заставил старого воина строгать палки и таскать кости мертвых великанов. Кости носорога и мамонта Кузьма считал за останки людей-исполинов, некогда побежденных детьми Ворона. Великаны кидали на головы индейцев валуны и обломки скал,

но жители тундры без промаха пронзали глаза исполинов стрелами. Так думал Кузьма.

— Возьми свои палки, Белый Горноста́й, и черти ими,— говорил индеец, протягивая руку с пачкой карандашей.

Все наброски к будущей Генеральной карте бассейна Юкона русский делал, кладя к себе на колени плоский индейский щит с изображением солнца. На этом щите когда-то Загоскин с Кузьмой складывали лоскутья найденного у иноземца чертежа. Теперь эти клочки, тщательно пронумерованные и разглаженные, лежали в походном мешке. По возвращении в Ново-Архангельск Загоскин надеялся восстановить чертеж, наклеив его на полотно.





ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В широких низинах между Квихпаком и Кускокнимом стояли самые многолюдные селения. Здесь жили племена, которые можно было причислить к жителям моря. Очевидно, это были эскимосы. Семья народа кан-юлит была многочисленной; она, как узнал Загоскин, занимала все побережье Ледовитого океана и Берингова моря, остров Кадык и Чугацкий залив. Жители моря обитали в темных кажймах — полуподземных жилищах с узкими, похожими на длинные норы входами. Проникать в эти подземелья нужно было на четвереньках. Кузьма обычно не давал Загоскину входить, вернее, вползать туда первому. Старый индеец храбро протискивался в темную нору и тянул вслед за собой своего друга.

— Тише, русский тойон! Здесь, кажется, собака. Я сейчас загоню ее в жилище. Направо,

у стены, большая деревянная чаша; видимо, квасится рыба. Не задень ее. Ползи за мной. Я уже вижу огонь очага. Святой Никола, зачем они забиваются под землю? Ведь живем же мы в хижинах. А знаешь, дальше к северу люди Зимней Ночи строят себе жилища из китовых ребер... Ну, кажется, мы доползли.

Кузьма поднялся с колен и выпрямился, оглядываясь вокруг. Оба они стояли внутри большого кажима. Вдоль стен шли высокие нары, окно в потолке еле пропускало слабый свет. В таких кажимах эскимосы обычно собирались для важных празднеств, собраний, а также для омовений. Париться они любили не меньше русских мужиков, только вместо березовых веников эскимосы употребляли пучки морской травы. На этот раз здесь справляли праздник годовичных поминок.

На нарах сидели гости, приехавшие из глубины тундры. Семь жировых светильников жарко горели посередине кажима; это означало, что поминки справляло семь семейств.

Отблеск светильников и широкий свет костра скользили по грудам подарков, сваленных на нары. Здесь были весла от байдарок, ножи и копья, рубахи из кишок моржа, бобровые шкуры и обувь из кожи зубатки.

Хозяева и гости долго молчали. Наконец к светильнику подошел коренастый старик охотник и громко выкрикнул чье-то имя. В ответ гость, сидевший в дальнем углу нар, безмолвно

поднял вверх руку. Старик кинул на нары бобровую шкуру — подарок в намять о поминках. Шкуру передали гостю. И так, один за другим, поминающие подходили к светильникам, выкрикивали имена гостей и вручали им дары.

— Знаешь, русский тойон, — шепотом сказал Кузьма, — как здесь поминают? Тот, кому дают подарки, носит имя умершего. Так у них водится всегда. Ну вот, был человек, звали его Кыголиях. Он умер. А какой-то Кыголиях жив и сейчас. Те, кто поминают, разыскивают его и делают подарки Кыголияху живому в честь мертвого. Понимаешь теперь? Если бы мы назвались именами умерших, у нас было бы немало шкур.

— Помолчи, — шепнул ему Загоскин. — Мне надо хорошо запомнить праздник мертвых.

Они сели на краю нар, рядом с каким-то тезкой умершего, получившим в подарок связку из нитей голубого бисера. Между тем поминающие завели какую-то тихую песню. Слов Загоскин разобрать не мог, но он понял, что несня была рифмованной. Они начали спокойную, медленную пляску в честь душ умерших. Потом женщины стали стаскивать на середину кажима огромные раскрашенные чаши с морошкой, рыбой и мясом тюленей. Тезкам умерших подавали чаши с водой; они троекратно обмакивали пальцы в чаши, отряхивали воду и тихо говорили:

— Наши мертвецы, пейте! Примите, мертвецы, от наших богатств. Помогайте нам тайно в нашей жизни! — говорили тетки, разбрасывая вокруг частицы нищи.

Все остальные молчали в глубокой скорби.

Молчал и Загоскин, наблюдая обряд печали. Он вспомнил русскую «Радунцу», сельское кладбище, поросшее густой травой, представил себе, как темные мужицкие руки рушат белые хлебные ковриги над могилами.

Загоскин старался запомнить обряд во всех подробностях.

В тот вечер он записал в дневнике: «...я забыл в этот момент грубые обычаи дикарей, видел в них людей, и что-то грустное невольно заходило в душу...»

— Белый Горноста́й, — приставал к Загоскину Кузьма, — брось пишущие палки. Довольно тебе чертить ими; светильник горит плохо. Мы скоро придем к Лукину в Колмаковский редут. Там будут яркие жировики. Лучше скажи, почему здесь у крещеных канюлитов нет никогда именин? Сейчас они пришли к тебе спросить об этом. Можно их позвать?

— Зови...

Кузьма опустил на четвереньки и проворно пополз к выходу из кажима. В нем оба путника остались на ночлег, когда гости разъехались после поминок.

Вскоре в «дверях» кажима появилась голова пожилого эскимоса. За ним вползло еще человек десять.

— Вот перед тобой, русский тойон, люди, у которых нет именин; им остался только праздник мертвых. Это нехорошо. У тебя так много ума, что ты сможешь даровать этим бедным людям радость праздника.

Кан-юлиты молча стояли перед Загоскиным. Некоторые из них не хотели приближаться к огню, боясь испортить обувь из рыбьей кожи; несмотря на весеннее тепло, в кажиме горел костер; иначе там нельзя было спастись от сырости.

— Люди кан-юлит, я слушаю вас,— сказал Загоскин, сняв с колен щит, на котором лежал раскрытый дневник.— Прежде всего скажите ваши имена.

— Вооз...

— Азор...

— Овид...

— Стойте! — закричал Загоскин.— Кто же вас крестил? Лукин? Теперь назовите еще имена. Как? Авиуд, Елиуд, Салмон, Арам. Да ведь таких имен в святцах нет. Потому и нет у вас праздников. В Ситхе я расскажу о вашем деле главному русскому тойону и отцу Иннокентию, начальнику русских священников. Хорошо?

— Русский тойон,— взмолился пожилой эскимос в одежде из бобровой шкуры,— мы не

хотим долго ждать. Мы пришли сюда затем, чтобы ты дал нам новые имена.

— Я этого сделать не могу... Объясни им, Кузьма, что таинство святого крещения мне недоступно.

Старый индеец отвел эскимосов в сторону и с важным видом стал говорить с ними. Очевидно, в нем внезапно заговорила старая злоба против отца Ювеналия, потому что Кузьма ни с того ни с сего несколько раз повторил его имя, прибавляя к нему русскую брань. Люди канюлит мотали головами, очевидно не соглашаясь с доводами Кузьмы насчет невозможности нового крещения.

— Крести нас снова, русский тойон, — упорствовали эскимосы.

— Ну, хорошо, — улыбнулся Загоскин.

Он вспомнил, что начальник Михайловского редута дал ему старые святцы — маленькую карманную книжку в малиновом переплете. Загоскин вносил в нее кое-какие записи, пользуясь книжечкой как календарем.

Он с улыбкой перечитывал имена святых, приходящиеся на май, — Афанасий, Тимофей, Симон Зилот, Кирилл и Мефодий, Феодор и Ефрем Перекомский, Симеон Столпник, апостол Карп и Игнатий Ростовский... Загоскин вдруг задумался. Завтра — праздник Троицы.

— Ладно, — промолвил он, — завтра, как только взойдет солнце, я дам вам новые имена.

Подходите ко мне по одному, я должен запомнить имена, которые дал вам Лукин.

Загоскин переписал всех эскимосов и прогив старых имен поставил новые из святцев.

— Теперь до рождения новой луны каждый из вас будет праздновать свой день. Идите по домам, — сказал Загоскин людям.

Утром над тундрой, над гранитными берегами притока Кускоквима взошло яркое и уже теплое солнце. Вдалеке синела высокая гора Ташатулит, на ее вершине светилось жемчужное облако. В зарослях ольхи и тальника, зеленых и влажных, пересвистывались веснянки. Загоскин собрал эскимосов на берегу реки, на высоком холме. Он велел им пойти в прибрежные низины и срубить там десять березок — самых зеленых и стройных, а Кузьме пришлось сколотить большой крест из сосновых бревен и поставить его на вершине холма. Пока люди кан-юлит ходили за деревьями, Загоскин развел костер и раскалил на огне шомпол от своего пистолета. Шомполом он выжег на кресте год, месяц, число, свою фамилию, широту и долготу местности. Подумав, он прибавил к надписи: «*День св. Троицы*».

Эскимосы принесли белоствольные деревца с нежной, едва распустившейся листвою и, как указал Загоскин, воткнули их в серебристый олений мох.

— Снимите шапки и подходите ко мне по одному, — сказал он людям кан-юлит. — Кре-

щается раб божий Симон! — провозгласил Загоскин, и индеец Кузьма прилежно перекрестился при этих словах.

За ним неумело и смешно перекрестились эскимосы.

Симон, пожилой эскимос, носивший до этого имя Эсрома, получил от Загоскина узкий бумажный ярлычок с записанным на нем новым именем. Такие же ярлычки были розданы остальным эскимосам на тот случай, если сюда когда-нибудь заглянет миссионер, чтобы он не переименовал эскимосов в третий раз.

Вечером в кажиме эскимосы с Загоскиным и Кузьмой праздновали первые именины новокрещена Симона. Гости пришли на торжество в лучших одеждах, с поясами, украшенными волчьими хвостами и мордами росомов. Полы одежды были оторочены каймой из кожи зубатки и налима. Люди бросали друг в друга туго надутыми пузырями морских животных, раскрашенными самым причудливым образом. На пузырях были нарисованы совы, киты и тюлени. Молодой эскимос Мефодий носился по кажиму с большим изображением филина, вырезанным из дерева. Когда Мефодий дергал за кожаный шнурок, филин хлопал пестрыми крыльями и открывал круглые глаза. Деревянная чайка долбила клювом невидимую рыбу, куропатки, вырезанные из пластин мамонтовой кости, целовались друг с другом, костяной кит шевелил широким хвостом.

Загоскин сидел на нарах кажима возле самой стены, украшенной березовыми ветвями. Рядом с ним стояла большая резная чаша с морошкой, сдобренной китовым жиром, деревянные блюда с вареным мясом бобра, студнем из ластов сивуча и квашеной рыбой.

Индеец Кузьма с таинственным видом два раза уходил вместе с именинником в темный угол кажима и, побыв там, приходил заметно повеселевшим. Очевидно, они пили там дурманящую влагу, перегнанную из «сладкой» травы. Загоскину ее предложить не решались. Придя оттуда в последний раз, Кузьма так почувствовался, что снял с морщинистой шеи свой старый медный крест, надетый еще отцом Ювеналием, и подарил его имениннику. Потом Кузьма запел протяжным голосом песню «В восемьсот третьем году на Кадыке-острову», когда-то сложенную русскими промышленниками в честь Александра Баранова. Губы индейца были желты от морошки.

Вскоре Кузьма захрапел, сидя на нарах. Он не видел, как эскимосы, надев шляпы из дерева и пестрые маски, начали пляску в честь гостей.

К концу праздника Загоскин велел всем своим новокрещенам принести к нему костяные дощечки, заменяющие людям кан-юлит календари. Справившись в святцах, Загоскин показал на отверстия дощечек, которые соответствовали дням будущих именин каждого из эскимосов. К всеобщему восторгу, праздники

должны были следовать один за другим. Эскимосы замазали красной краской дни именин на своих календарях...

Так Загоскин даровал право на день веселья людям, справлявшим только праздник мертвых.

Ночью при свете жировика Загоскин записывал в дневник свои наблюдения за жизнью приморского народа кан-юлит.

«В сих дикарях явственна натура человеческая, — писал он. — Подобно нам они слагают песни и создают художества. Им свойственны зачатки наук, понятие об устройстве общества. Шаманка, одетая в звериные шкуры, цела мне о славе предков. Не так ли слагалась «Илиада» и другие великие творения?

Суровая природа дает им средства для жизни и пропитания. Одеяния из рыбьих кож, сети, сплетенные из тонких ремней, костяные орудия, драгоценный мех — обычны для гиперборейцев. Горностаева мантия ниспадает с плеч здешней красавицы...»





ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Наутро Загоскин и Кузьма собрались в дальнейший путь к Колмаковскому редуту. Им дали крепкую байдару из шкур морского льва, припасов на дорогу и толстые ремни для того, чтобы тащить байдару против течения. Проколотая иглой дикобраза ступня давала Загоскину знать о себе. Он шел вдоль берега Кусковима прихрамывая и часто оступаясь. Шелестели мутные воды быстрой реки. Ее правый, нагорный берег слагался из гранита, левый был ровен. Этим берегом и шли путники.

Дорогу им пересекали горные ручьи, стремящиеся в реку с каменных кражей. Из черных лесов тянуло сыростью. Под ногами трескали крупные листочки слюды, блестевшей на солнце, как чешуя. Нередко над речной тропой были видны свисавшие с ветвей деревьев петли для лова лосей и оленей. На пригорках стояли

ловушки на росамах, разукрашенные причудливыми и яркими узорами. По почам, когда от холодной росы у Загоскина ломило руки и ноги, бобры поднимали таинственную возню у своих плотин. Они били хвостами по воде, отряхивались и снова с шумом падали в воду.

Воспоминания о троицыне дне жили в сердце Загоскина. В день крещения эскимосов он записал в своем дневнике:

«Не верю, чтобы человек мог быть вполне космополитом; всегда останутся в нем чувства или впечатления, которые в дни, подобные нынешнему, так сильны, что навевают невообразимую тоску, какое-то особенное стеснение сердца. Нужно только пробудить это чувство хоть каким-нибудь маловажным обстоятельством. Не правда ли, господа путешественники?..»

Земля народа кан-юлит кончилась. Дальше лежали дебри, населенные инкиликами — так кан-юлиты называли все племена, живущие в глубине материка. К инкиликам можно было причислить и краснокожих индейцев, называвших себя ттынайцами, и индейцев, смешавшихся с эскимосами и принявших обычаи последних.

Кузьма негодовал, когда Загоскин расспрашивал его о племени юг-ельмут.

— Нет, это не наше племя, русский тойон! Ведь они, как и кан-юлиты, живут в подземных норах, моются мочой и едят только тюлений

жир. Они не воины. Их дело — караулить нерпу. Вот ттынаи — это наш народ!

Байдара подпрыгивала на камнях, застревала в подводных корягах. Нередко ее относило сильным течением.

— Ничего, Белый Горностаи,— утешал Загоскина индеец,— нам бывало во много раз хуже. Потерпи. Скоро будет редут... Но откуда к нам все время наносит гарь? Вот уже второй день, как у меня ноздри болят от дыма.

Кузьма оказался прав, хотя Загоскин и не чувствовал никакого запаха гари. Колмаковский редут внезапно предстал перед ними, когда путники, волоча байдару, шли вдоль кромки густого чапыжника, близко подошедшего к реке. Низкий синий дым застилал большое пространство вокруг редута, и временами Загоскину и Кузьме приходилось шагать по теплой золе. Устье бобровой речки Квыгым напротив крепости было окутано дымом, синие клочья цеплялись за низкие кровли изб.

Загоскин выстрелил вверх из пистолета.

Из ворот редута навстречу пришельцам поспешил сам Лукин.

— Господин Загоскин? — спросил невысокий, плотный человек, по виду креол.— Мы уже про вас прослышаны. Милости просим. Я здешний управитель Лукин. Пожар тут у нас. Извините, малость лес горит. Плотник наш вздумал бобра на окорок опаливать, да костра не залил. Ну, оно и полыхнуло, изво-

лите видеть. Третий день горим. А плотника я по-свойски поучил, как Александр Андреич нас учил, бывало... — Лукин засмеялся.

Вот он какой — один из первых покорителей Аляски!

О Лукине ходило много разговоров. Он потерял отца во время нападения индейцев на Якутат в 1806 году, и его взял к себе на воспитание Александр Баранов, первый главный правитель Русской Америки. Потом Лукин был переводчиком в материковой экспедиции храброго Васильева. Он был пионером Кускоквима, так же как и креолы Малахов, Колмаков и Глазунов. Лукин основал здесь «одиночку» и поселился в ней, окруженный враждебным племенем.

Однажды к Лукину пришли вооруженные индейцы. Они явно хотели разделаться с креолом. Но Лукин не растерялся. Он выбрал самого рослого индейца с лицом, измазанным графитовой пылью, с волосами, осыпанными орлиным пухом, схватил его за плечи, повернул и выкинул за двери. Посрамленный индеец долго ощупывал после этого свои ребра. Он тут же помирился с Лукиным и с тех пор сделался его лучшим другом...

— Голодаем малость мы, Лаврентий Алексеич, — говорил Лукин. — Все припасы приели. Оленей стрелять некому, рыбная снасть износилась. Старую юколу давно прикончили. Семья-то у меня в редуте немалая, сами

видите — сорок две души, а работников нет. Припас ежели какой добывать надо, то из Александровского редута. А туда путь трудный: надо байдары переносить с Аимтака-реки через горы; без переноса не пройдешь. Вот нас эти переносы здесь всюду и губят. Мало таких мест, где цельной водой пройдешь от места до места. Вы нашей пищи попробуйте. Извольте вам горячую лепешку. Мы к муке молотый лягат-корень подмешиваем. И ничего, едим — и живы-здоровы. Не хлебом единым жив человек, господин Загоскин! Слово божие иногда надобнее хлеба. Я своим людям священное писание читаю каждое воскресенье, а в субботу отправляю службу божественную, часовню из старой лавки перестроил. Я вам ее особо покажу.

Лицо Лукина светилось от удовольствия.

— Все это, Лукин, хорошо — и часовня, и писание. А вот зачем ты кощунствуешь? — спросил Загоскин, с трудом прожевав лепешку, отдававшую травой.

— Я кощунствую? Господь с вами, Лаврентий Алексеич! Обижать изволите. — Лукин даже перекрестился.

— А кто эскимосам такие имена дает? — Загоскин полез в карман и достал святцы в малиновом переплете; в них лежала бумажка с именами эскимосов, крещенных Лукиным.

— Вот тебя небось Степаном да еще Терентичем зовут, — улыбнулся Загоскин. — А что

ты запел бы, если б тебя звали, предположим, Елиудом Эсромовичем, а? Что ты на это скажешь? погоди, я преосвященному доложу о том, как ты крестишь.

— Ну и какая тут беда? Верно, так крестил и крещу. Нешто можно варварам сразу давать православные имена? И эти я все равно из священного писания взял, из родословной господа нашего Иисуса Христа. И из Библии брал, которые повнушительней — Голиаф, Авессалом, к примеру. Есть и такие у меня новокрещены.

— Ты еще бы Навуходоносора взял, — улыбнулся Загоскин. — Было бы внушительно. Вот что, я твоих Эсромов всех перекрестил, ты так и знай. А больше таких имен не давай, иначе будет худо.

— Нешто за ревность к вере накажут? — с удивлением спросил Лукин, расправляя редкие усы. — Ревностней меня среди креолов не найти. Коренные русские часто удивляются — откуда в нас, креолах, вера такая? А тут ничего нет удивительного. Мы в дикости долго пребывали, и для нас вера — что чистая рубаха для человека, который омылся от грязи и этим чистым всю жизнь дорожит. — Лукин вдруг пристально взглянул на святцы в руках гостя. — Позвольте спросить — где вы святцы взяли?

— В Михайловском редуте, Егорыч дал. А что?

— Это не его книжка. А вот чья — точно не упомяну, только у него таких святцев не было. Преосвященный владыка в Ново-Архангельске лично святцы и Евангелия раздавал всем служителям редутов и «одиначек», и помню, что тогда Егорычу святцев не досталось; он еще обижался. Ну а чего ему обижаться... Он к вере не очень ревностен.

И Лукин стал рассказывать, как он перестраивал часовню. Он долго жаловался на нехватки. Подумать только, в лампадах вместо масла у него палит медвежий жир, аналой сделан из патронного ящика, благовестить приходится, ударяя в медный котел...

— Чья же книжка эта? — в раздумье несколько раз спрашивал креол, поглядывая на святцы.

Очевидно; ему хотелось выпросить их у Загоскина.

В тот вечер они долго говорили о разных делах. Лукин лучше всех знал всю систему переносов — волоков от реки к реке. В них заключалась главная трудность сообщения внутри материка Аляски. Без волоков обойтись было невозможно; следовательно, нужно выбирать из них наиболее удобные. Загоскин разостлал карту на столе и, пользуясь указаниями бывалого креола, набрасывал пунктиром места переносов. Иногда они подзывали Кузьму, дремавшего в углу, и просили его уточнить местонахождение той или иной речки, озера или

ущелья. Кузьма по-прежнему не доверял карандашу. Его нельзя было заставить взять в руки «пишущую палку».

— Белый Горноста́й,— говорил он, закрывая глаза,— речка Квильхак похожа на лапу тетерева; лежит она когтями к северу. Пиши!

Загоскин делал слабый набросок на карте. Кузьма вглядывался в чертеж.

— Отведи этот коготь немного вправо... Около него будет небольшое озерко с черной травой.

Загоскин не раз удивлялся точности наблюдений Кузьмы. Даже после съёмки очертания рек на карте совпадали с описаниями старого индейца.

Набожный Лукин, так же как и Загоскин, тревожился за будущее меховой торговли на Аляске.

— Пушнина наша, господин Загоскин, между пальцев у нас проходит. С востока подбираются соседи-европейцы и через верховых индиан скупают лучший мех. Наши же племена через поморские роды несут пушнину в Коцебу-зунд, где и продают чукчам. И вы в том правы, что нам надобно бы поставить у Коцебу-зунда новый редут. И на переносах надлежит устроить заграждения вроде «одинок». Много к чукчам богатства нашего уходит. Индиане так набаловались, что среди них появились воротилы, крупные скупщики, как, например, Тумачунтак. У него по каждой осени

собирается по полтораста бобров первосортных; наличного капитала у него — не менее двухсот сажен бисера... Есть старик, по кличке Заплатка, так у него по сей день на вешалах сотни две оленьих шкур хранится. Вот оно какое дело. Уж ежели среди дикарей, закоснелых в варварстве и невежестве, обозначился свой деятель, то нам приходится ухо остро держать. О сем вы доложите господину главному правителю для принятия достойных мер. Ну, даст бог, справимся и с этим делом. Не дадут мне покоя ваши святцы, господин Загоскин. Где это их Егорыч раздобыл? Ну, извините меня; никак, Голиаф ко всенощной звонит; мне надо идти службу отправлять. Вас приглашать не смею, с дороги устали. Отдыхайте, я вам велю постель изготовить...

На дворе редута раздавались глухие удары. Когда Загоскин с Кузьмой улеглись на оленьи шкуры, в окне синели сумерки. Пахло древесной гарью и ладаном.

«Чего это он ко мне со святцами привязался?» — подумал Загоскин, засыпая.





ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

С тех пор как Лукин проводил своих гостей, отслужив в один и тот же день панихиду по креолу Савватию, освящение лодки и напутственный молебен, прошло две недели.

За это время Загоскин и Кузьма не встретили ни одного человека: весной через волоки нет особой нужды ходить, и, очевидно, лишь поздней осенью и зимой здесь идут индейцы с мехами. Еще несколько дней странствий по переносам, и Загоскин с Кузьмой вновь увидят Михайловский редут. Как болели их руки и плечи! Они обозначали свой путь, как вехами, горами ископаемых костей и сосновыми и лиственничными крестами на высоких берегах рек. В конце мая путники услышали первые раскаты весеннего грома. Часто над высокими горами трепетали зарницы, и нахмуренное небо светлело от этого трепета. Густые леса, темные

озера с низменными берегами, пади и лощины бесчисленных речек лежали между волоками. На этом пути к Квихпаку переносов было три. Лодку приходилось нести на плечах через валуны, россыпи щебня и заросли густого тальника во влажных долинах.

...Они спустили лодку в русло речки Тальгик-сюак. Теперь Квихпак был не за горами. Речка была мелкая; крупная гранитная дресва царапала днище лодки, грести веслами было нельзя. Пришлось срезать шесты. Стуча шестами с борта лодки, Загоскин и старый индеец вели ее меж обломков зеленой яшмы и глыб розового гранита, возвышавшихся над руслом речки.

Путники питались мясом северной сороки и диким луком. И то и другое спасало их от цинги, а рыба давно успела им надоесть.

В ясный, погожий день перед ними открылся широкий, играющий на солнце Квихпак.

— Отец рек нашей земли! — крикнул Кузьма, отшвырнул шест в сторону и взялся за весло. — Греби, Белый Горноста́й. Мы вошли в Квихпак, слава святому Николе. Погляди, вода всюду морщится — с моря идет чавыча. Я уже вижу впереди Икогмют. И нас увидели! Глазун стоит на берегу и машет шапкой!

Селение Российско-Американской компании расположилось в редком березовом лесу, прикрытое с севера утесом из базальта и застыв-

шей лавы. Вокруг возвышались голые глинистые холмы, за ними начиналась горная цепь; она уходила в глубь материка. Пусто, голо, неприветливо! Каменные, безлесные горы не казались высокими, потому что простор был огромен и состоял как бы из воды и неба, взаимно отражавших друг друга. Загоскина пугал этот простор. Жизнь в лесах и ущельях выработала в нем привычку видеть все вблизи, и теперь казалось, что нужно какое-то новое зрение, чтобы привыкнуть к созерцанию пространства, в котором терялись даже горы. И человек, стоявший на глинистом берегу, казался Загоскину таким маленьким и ничтожным, что было удивительно слышать его громкий голос. Человек был не больше муравья, а кричал он, как сивуч. Кричал и махал шапкой, делал знаки, чтобы лодка подошла к берегу.

И лишь когда берестяное днище зашумело от соприкосновения с наносами ила, Загоскин увидел, что стоящий на берегу человек очень высок. Он стоял около потухшего костра, вокруг лежали вязанки хвороста.

— Загоскину пристать к берегу! — кричал человек.

Обрадованный Кузьма выкинул за борт обглоданные кости сороки и перья дикого лука: в Икогмюте найдется еда куда повкуснее вареных сорок.

— Ну и досталось мне из-за вас... Здравствуйте. С прибытием.— сказал Глазунов,



начальник Икогмюта. — Неделью живу на берегу, все глаза проглядел — все вас караулю. Ночью костры жгу. Вам пакет из Ново-Архангельска, что-то очень спешное; сам Егорыч из редута его представил. А там на рейде вторую неделю бриг «Байкал» стоит, верно, вас ожидает.

— Торопятся, — вырвалось у Загоскина, — а ты не знаешь, в чем дело, Глазунов?

— Где же мне знать? Наше дело маленькое: приказывают — мы и караулим, — пробасил Глазунов. — Нужны вы стали зачем-то. Может, приказ о награде вышел. Вон сколько вы маялись — на себя не похожи стали. Только насчет награды что-то мне не верится. Нет этого у нас. Колмаков, Малахов, Лукин печенки испортили в дальних местах, повсюду первыми прошли, а какая им награда? Пойдем в избу, отдохнете и пакет получите. Лукин-то все там молится?

— И молится, и крестит, — улыбнулся Загоскин.

Великан зашагал рядом с гостями. У него было смуглое лицо калифорнийского креола, жесткие волосы, нависшие над низким лбом, и очень длинные руки. Смелость и находчивость Глазунова были известны всей Аляске. Совсем недавно на него напали ттынайцы с топорами из рогов оленя. Они успели выхватить из рук Глазунова ружье; он спасся тем, что бросил в жаркий костер горсть ружейных патронов.

— Господин Загоскин, — вдруг сказал Глазунов, — разрешите пожать вам руку от всего

креольского населения. Такого похода, как ваш, я еще не видывал. Отвагу немалую вы показали. Целовко как-то людей в глаза хвалить, но я вот хвалю. Взять меня, к примеру. Я материк американский порядком исходил — от Калифорнии до Ледяного мыса... Но и я удивляюсь вам. Спасибо! — И Глазунов протянул огромную ладонь Загоскину. — У Егорыча в редуте — тревога, — продолжал, понизив голос, Глазунов. — С самой весны все люди под ружьем. Открылось, что Савватия в Квихнакской «одиночке» убил какой-то захожий белый...

Загоскин насторожился. Каким образом в Ново-Архангельске и здесь знают о том, кто именно убил креола? Он спросил об этом Глазунова.

— В точности сказать не могу. Егорыч поди знает про это: И мне инструкции вышли, чтоб я берегся. А как тут убережешься? У меня один-разъединый единорог медный да три ядра к нему, фальконет, еще барановский, неисправный... Люди мои голодуют, ржанных сухарей второй год не видят. Жизнь, господин Загоскин! Так бы и снял с себя. — Глазунов показал на широкую свою грудь — на ней висела большая серебряная медаль «Союзная России». — Наградил меня ею Александр Андреич, а сейчас больно мне ее носить. При Баранове развала такого не было... Слыхали, наверное, что наши владения в Калифорнии продали?..

Загоскин срывал печати с пакета. Уже одна

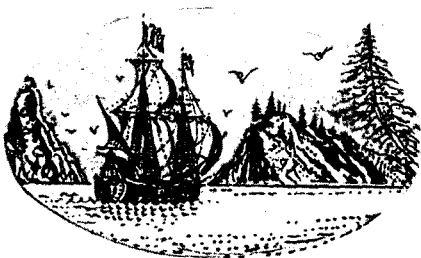
надпись на пакете смутила его. В правом углу стояло: «Экстренно, не имеющему чина служащему Российско-Американской компании Загоскину, где бы он ни находился. Разыскать и вручить...» Похоже на повестку Третьего отделения.

Он развернул лист голубоватой бумаги, прочел:

«...Вам надлежит немедленно прибыть в Ново-Архангельск, прекратив изыскания внутри материка. Неисполнение сего приказа Главного Правителя и задержка в пути повлекут за собой отдачу под суд...»

— Смотри, Глазунов, как наградили, — сказал, криво улыбаясь, Загоскин.





ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Желтые огни теплились на верхушках мачт брига «Байкал». Корабль стоял в заливе Тебенькова против острова св. Михаила, и огни были видны издалека, со взморья.

Загоскин и Кузьма плыли к редуту ночью, на приливе, когда взморье содрогалось от напора темных и стремительных вод. Через камни перекатывались плотные волны. Они выносили лодку прямо к базальтовому мысу, на котором стоял редут. Вода прибывала фут за футом, пролетая вдоль бортов лодки.

В редуте было тихо, люди спали, и лишь на башнях бастиона горели большие площадки с тюленьим жиром да на самом берегу ярко светились угли костра — там бодрствовали часовые.

Берег был теперь недалек: уже виднелся бревенчатый настил в розовых отблесках костра.

— Как бы нас не унесло обратно в море,— пробормотал Загоскин.— Эй, кто там на берегу, брось багор со снастью. Правь, Кузьма, к этим бревнам!

Скользкий багор упал на нос лодки. Веревка натянулась, и лодка почти выскочила на бревна пристани.

— Кто такие? — лениво и сердито спросил часовой.

Загоскин узнал его по голосу. Это был разбитой и обычно словоохотливый печорский мещанин. Он промотал все, что у него когда-то было, на вечеринках и посиделках в Мезени и Пустозерске и явился на Аляску в одной кумачовой рубахе. В редуте он измерял высоту приливов и отливов и силу ветра. Румбов он не знал и направление ветров обозначал по приметным ему местам вокруг редута.

— Это я, Загоскин! Не узнал, что ли?

— Шляются всякие по ночам,— сквозь зубы произнес мещанин. С горящей хворостинной в руках он подошел к футштоку.— Без пальца шесть,— раздраженно добавил он, обмакнул руку в воду и поднял ее над головой.— Ветер с канавы!

Мещанин вытер руку полрой рубахи, подошел к костру и взял в руки балалайку.

— «Я по сенюшкам гуляла!» — запел он хрипло и протяжно, делая вид, что не замечает присутствия Загоскина.

— Ты как себя ведешь? — не вытерпел

Загоскин. — Оставь балалайку, раз с тобой говорят. На вахте находишься, а не на вечеринке. Совсем забылся, братец! Скажи, чтоб открыли ворота, да разбуди Егорыча.

— Как бы не так, — дерзко ответил мещанин и ударил по струнам. — Много вас таких. Спит управитель, и все добрые люди спят, а если вас по ночам носит, то я здесь ни при чем...

— Ты пьян, негодяй!

— Разопьешься тут много, держи карман шире. «Пьян, пьян»... — передразнил мещанин. — Поили вы меня? Никакого Егорыча не будет, нечего здесь шуметь.

— Да ведь нам ночевать где-то надо!

— А по мне что? Здесь не нумера. Вон идите в казарму к алеутам и ночуйте на здоровье. А в крепость войдете, как сигнал подадут, — утром. Вот и весь сказ.

Кузьма угрожающе придвинулся к мещанину, но Загоскин сжал руку индейца.

— Мы с тобой еще поговорим, голубчик, — сказал Загоскин мещанину. — Пойдем, Кузьма, к алеутам. А ты изволь Егорычу доложить о том, что я прибыл, сразу как только тебя сменят... Да гляди за нашим грузом и лодкой.

— Слушаю, да не исполняю, — проворчал «метеоролог». — Кто с кем поговорит — это еще поглядим. Вот уж с вами поговорят на корабле. Раскричались здесь! Хорошего человека разыскивать не будут. Велено вас сыскать и представить к господину правителю.

Слово «представить» мещанин произнес с каким-то особым наслаждением. Хлюпая сапогами, он побежал к футштоку. Темно-серебряная пелена прилива колыхалась на помосте.

— Семь с пальцем! — выкрикнул мещанин, взглянув на свою мерку.

Кузьма и Загоскин побрели в жилище алеутов, напоминавшее смрадное логово.

Наутро Загоскин отправился разыскивать Егорыча.

Печорский мещанин сидел на крыльце дома Егорыча и играл в шашки с приказчиком. Приказчик даже не поднял головы по появлении гостя, а мещанин, вскочив, загородил дорогу.

— Вам куда-с? Управитель заняты и принять вас сейчас не могут. Они книгу заполняют. Как почивали? — с наглостью спросил мещанин.

— Пусти, дурак! — Загоскин отстранил мещанина и распахнул двери в избу. — Слушай, Егорыч, что у тебя творится здесь? Как ты людей своих распустил! Ну, здравствуй!

Егорыч как бы не видел протянутой руки. Он сидел за столом и безразлично глядел на икону, висевшую в иглу.

— Очень хорошо, что прибыли, — сказал Егорыч после долгого молчания. — Эдак-то лучше. — Он взял перо, придвинул книгу и спросил строго: — В какое время вчера к берегу пристали? В десять вечера?.. — Записав, он с видимым удовольствием прочел: — «Разыскивае-

мый Загоскин сам явился в Михайловский редут...»

— Слушай, управитель, хоть ты мне объясни, что все это значит? Ведь я жизнью рисковал, а со мной так обращаются... Что я — украл, убил кого-нибудь?

— Может, и убили, хоть и не своей рукой, — спокойно и глухо сказал Егорыч. — Да что нам с вами говорить? Все это без толку. Поезжайте в Ново-Архангельск, господин главный правитель там все и объяснят. Мы же вам ничего сказать не можем. Пожалуйста на корабль! Прикажу дать сигнал, оттуда шлюпку за вами пошлют...

— Глазунову и Лукину помочь надо, Егорыч, — промолвил тихо Загоскин. — Голодуют там люди. Лукин коренья ест, и у Глазунова все припасы вышли.

— Знаю, — отрезал Егорыч. — Меня учить не надо. Сам знаю, да взять негде. Прощевайте, Лаврентий Алексеич, да не обижайтесь. Я службу справляю.

— Погоди-ка, управитель. Я сейчас еду на бриг. Ты мне вот только скажи: где ты взял эти святцы? — Загоскин вытащил из кармана книжечку в малиновом переплете.

— Креол Савватий, покойник, оставил, — нехотя ответил управитель. — О прошлом годе был здесь да и забыл. — Лицо Егорыча вдруг оживилось, и глаза его потеплели. — Подумать только, как к человеку смерть приходит. Был он

здесь, значит, как раз на Зосиму и Савватия, в сентябре месяце, и свой день у меня справил, потом еще пожил малость и до первого снега поехал к себе. А теперь греха много из-за смерти его, ох, много греха! — сказал Егорыч, понизив голос, но, как бы спохватившись, добавил уже суровей: — Вам на бриг пора!

Загоскин вышел на крыльцо, где его ожидал Кузьма. Они пошли к крепостным воротам. Печорский мещанин насмешливо смотрел им вслед.

— Видал Бову-королевича? Из благородных, — сказал громко мещанин приказчику. — Связался с индейской девкой, делов всяких натворил, а мы тут его разыскивай. Да и девка всех переполошила...

Что еще говорил мещанин, Загоскин не слышал. Выйдя за ворота, он вспомнил о замерзшем индейце и невольно поглядел на лиственничные стволы, к которым было когда-то подвешено тело, завернутое в лосиный плащ. Останки индейца все еще покоились в дощатой колыбели; вороны клевали их, стуча клювами и когтями о доску.

Но вот на башне редута взвился сигнальный флаг, с брига ответили сигналом: «Я с н о в и ж у». Вскоре от корабля отделилась лодка. Матросы молча помогли Загоскину и Кузьме перетаскать имущество в шлюпку и взялись за весла.

— Жаждались мы вас, — сказал старший

офицер. — Скоро поднимаем паруса. Пакет получили? На берегу ничего не оставили?

Он держался с Загоскиным равнодушно-равнодушно, с каким-то брезгливым оттенком. В глазах офицера можно было прочесть сдержанную тревогу. Его, человека, привыкшего к размеренной жизни, беспокоило присутствие нового лица. Но офицер обязан был заботиться о Загоскине. Он предложил гостю пройти в отведенную ему каюту, где уже был накрыт стол для обеда. Загоскин попросил второй прибор. Старший офицер удивленно поднял брови, услышав, что гость хотел бы обедать вместе с индейцем Кузьмой, но ничего не сказал в ответ и исполнил его желание. Но почему Загоскин не был приглашен в кают-компанию, где обедали офицеры брига и откуда доносился звон ножей и вилок?

Старший офицер предупредительно отвечал на вопросы, но не заговаривал первым.

— А вы не знаете причины моего вызова? Ищут, торопят, как на пожар. В чем дело?

— Не могу знать. Получил приказ разыскать вас и вручить пакет. Разрешите распорядиться, чтобы вам принесли чаю? Ваш индеец его тоже пьет?

— И еще как! Благодарю вас.

Когда старший офицер вышел, Кузьма и Загоскин, как по уговору, переглянулись. Их глаза блестели от обильной и вкусной пищи.

— Слава святому Николе, — сказал Кузь-

ма, — наш путь окончен! Как мы живы остались! В жизни мне не раз приходилось плохо. Когда я был в теплой стране, то, чтобы не умереть с голоду, я ел улиток и шишки с толстых деревьев с резными листьями; когда я ходил к людям Зимней Ночи, мне однажды пришлось съесть запасные сапоги из шкуры нерпы... Но в этом походе нам было тяжелее, видит бог. Когда приедем в Ситху, ты будешь много есть и долго спать. Белый Горноста́й, брось хоть на сегодня свои пишу́щие палки.

После обеда они пили горячий, крепкий чай. Чаю принесли очень много, и Кузьма поглощал один стакан за другим, поглядывая на чайник — много ли еще в нем осталось? Загоскин, опоражнивая постепенно свои карманы, выкладывал на стол клочки бумаг, записки на узких бумажных лентах, маленькие памятные книжки. Он хотел собрать все, что было записано урывками, привести в порядок и переписать в дневник. Наконец очередь дошла до грудного кармана, где лежали наиболее нужные бумаги; там же оказались и святцы в малиновом переплете.

Загоскин раскрыл их и внезапно заметил то, что раньше не бросилось ему ни разу в глаза, — в книжке не было заглавного листа. Лист этот не был вырван, его просто кто-то наглухо приклеил к обложке святцев; точно так же было сделано и с последним листом книжки. Загоскин взял нож и попробовал отклеить лист от

обложки. Из этого ничего не получилось. Тогда он снял крышку с чайника, из которого шел густой пар, и прикрыл чайник раскрытой книжкой. Скоро края размякшего листа стали загибаться и отходить от обложки. Загоскин нетерпеливо раскрыл теплую, пропитанную паром страницу и увидел ровную, сделанную старательным почерком надпись. Она занимала весь заклеенный лист.

«Во имя отца и сына и святого духа!

Я, креол Савватий Устюжанин, завещаю после смерти воспитавшей меня Российско-Американской компании все места для будущей добычи золота, которые я открыл по реке Квихпак и ее притокам в последние годы. В году 18... я в поисках золота доходил до границы с Канадой и золото нашел почти всюду. На втором заклеенном листе помещаю карту мест, где находил золото самородками и россыпью. Карту побольше этой кладу в потайное место, за икону Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев, что висит в жилье Квихпакской «одиночки». Остерегаюсь всякого случая; думаю, что кто-то за моими поисками следил. Эти святцы ношу всегда при себе. Если пропадет план из-за иконы, останется чертеж при завещании.

За иконой же лежат и образцы золота.
К сему креол Савватий Устюжанин
руку приложил».

На втором заклеенном листке был размещен чертеж бассейна Квихнака. Загоскин не верил своим глазам — это лишь уменьшенный в несколько раз план, который был у иноземца! Загоскин вытащил из мешка пронумерованные клочья, составил всю посуду со стола, сложил обрывки и стал сравнивать оба плана. Кузьма молча следил за работой своего друга.

— Ну, Кузьма, погляди на этот маленький чертеж и скажи, верен ли он? Смотри: и большой чертеж, и малый очень похожи один на другой, но есть разница. Помнишь, ты говорил, что иноземец ошибся, приняв озеро Ментох за залив? А здесь — гляди хорошенько! — озеро есть. Который чертеж правильней?

— Вот здесь верно. — Индеец показал на страницу святцев. — Все очень верно. Объясни мне, в чем дело, русский тойон! Тогда я лучше смогу все понять.

Кузьма внимательно выслушал рассказ Загоскина, потом набил трубку, разжег ее и выпустил дым из ноздрей.

— Кружки и черточки на бумаге зачем поставлены? — спросил индеец.

— Это те места, где креол Савватий нашел золото.

— А сколько этих мест?

— Много... Сейчас сосчитаю. Двенадцать кружков — это, наверное, места, где были самородки, а штриховка — там, где рассыпное золото; таких мест семь. Всего девятнадцать пунктов.

— И на большой бумаге девятнадцать?

— Да, один кружок с крестом поставлен мною на месте, где был убит белый.

— А кто чертил большую бумагу?

— Очевидно, иноземец. Видна опытная рука. Но тогда где же чертеж, который был за иконой? Непонятно...

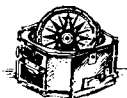
Загоскин стал разглядывать клочки бумаги на свет. На одном из них он снова нашел водяной знак с изображением льва, держащего в лапе гусиное перо. Теперь сомнений не было! Белый, после того как убил креола Савватия, снял копию с его «большого чертежа». Но при этом убийца намеренно допустил ошибки. Он хотел, чтобы чертеж не во всем был похож на настоящий. К тому же креол не нашел никакого золота около озера Ментох! И именно за счет озера Ментох убийца исказил чертеж креола Савватия при копировке. А подлинник? Его убийца, конечно, уничтожил, чтобы замести всякие следы.

Загоскин был поражен новым открытием. Так, значит, длинноволосый креол нашел золото и даже завещал его России. Неизвестный иноземец только шел по следу креола и сам не открывал ничего. Но где же тогда самородки, о

которых писал Савватий? Может быть, креол спрятал их куда-то очень далеко, а может быть, убийца выкрал их, а потом выбросил в тот день, когда его окружили индейцы во главе с Келли-лынь?

Как доложить главному правителю? Если Загоскин скажет, что золото нашел креол Савватий, начальство надолго успокоится. Подробных разведок никто скоро не начнет. Креол завещал все золото Компании. Бедный Савватий! Как он был наивен! Он считал золото своим. Но разве Компания стала бы считаться с правами Савватия? Никогда... Лучше сказать, что убийца креола, проникнув в русские владения, имел своей целью поиски золота и что креол чем-то помешал ему. Так будет лучше. Начальство всполошится и постарается сохранить свои владения и свое золото. Загоскин решил поступить именно так...

Бриг уже давно шел в открытом море.





ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Таких солнечных дней давно не бывало на острове Баранова, где дожди лили двести сорок пять дней в году. Бриг «Байкал» входил в Ситхинский залив. Загоскин и Кузьма вышли из каюты на палубу и увидели снежную вершину Эджкомба. Она светилась на солнце, и тень от облаков не покрывала ее, как обычно. Вправо и впереди корабля были разбросаны многочисленные острова, покрытые яркой зеленью. Узкие проливы между ними были спокойны и похожи на серебряные ленты. Слабый ветер доносил с земли запахи свежей хвои и густых трав. За островом Лазарева показался белый маяк, бриг пошел прямо на него, а потом устремился к Батарейному острову.

Вход в гавань сторожили подводные камни. Поэтому даже в такой ясный день на крамболах брига стояли дозорные; они указывали вахтен-

ному путь. Корабль долго сновал между островами, и неопытному человеку могло показаться, что до Ново-Архангельска еще много миль. Но крепость вдруг открылась сразу, как будто невидимая рука подняла занавес из солнечных нитей, синевы и зелени, за которым скрывалась столица Аляски.

Загоскин невольно залюбовался этим видом. Направо белела церковь, влево поднималась кораблестроительная верфь. На Камне-Кёкуре возвышались дом главного правителя, крепостные башни с блестящими на солнце медными пушками, крепкий частокол. На морском берегу, ниже крепости, белели дома жителей, покрытые кровлями из кипарисовой коры, темнели древесные шалаши индейцев. И все это — дикая скала Кекура, хвойные леса на горах, длинный мол на высоких лиственничных сваях, темные батареи — отражалось в тихой серебристо-синей воде залива.

Индейцы, завидев бриг, ринулись на больших, пестро раскрашенных лодках, чтобы, по обычаю, раза два обойти вокруг корабля.

С берега доносился крик воронья. Вороны — священные птицы индейцев — считались в Ново-Архангельске неприкосновенными. Они сидели на кипарисовых кровлях, восьмиугольной крепостной башне, вились над церковным куполом, а около шалашей индейцев воронов было так много, что казалось, будто на землю опустилась черная, лоснящаяся туча.

Тот, кто не был ранее в этих широтах, пора-
зился бы, увидев порхающие в воздухе легкие,
пламенные стаи птиц. Они носились около мор-
ского берега и зелени, рассыпались, сливались
сновь, падали вниз, как алые искры, и снова
всплывали в синее небо.

Это были тихоокеанские колибри...

— Ну, вот мы и дома,— сказал Загоскин,
когда они съехали с корабля на берег.— Кузьма,
пока не будет распоряжения главного прави-
теля, ты будешь жить у меня.

Обитатели Ситхи с удивлением разгляды-
вали их. Кузьма с длинным копьём и двумя
ружьями за плечами шел впереди. За ним, при-
падая слегка на правую ногу, брел Загоскин.
Шествие замыкал алеут, которого они наняли
на берегу нести вещи. Они миновали примор-
ский поселок, школу и церковь и зашли в ворота
Средней крепости. Вот и большой деревянный
дом, где жили холостые мореходы, мелкие
чиновники и выслужившиеся промышленные.

— Сюда, Кузьма! — Загоскин открыл двери
большой и светлой кухни.— Здравствуй, Та-
исья Ивановна,— сказал он громко.— Зажда-
лась поди?

— Ах, батюшки! Никак, Лаврентий Алек-
сеевич! Бог ты мой! Я сейчас... Уж и не чаяла
дождаться.

— А я взял да и приехал, Таисья Ивановна.
Тепло тут у вас, хорошо. Солнце светит...

— Ну, дай я на тебя посмотрю! — Высокая

пожилая женщина с добрым лицом подошла к Загоскину и всплеснула руками. — Да вы ли это, Лаврентий Алексеич? — промолвила она тихо и отступила назад. — Что с тобою только сделали, Лавруша? — спросила она и опустилась на лавку. — Нет, непохожий, вовсе не тот. И в глазах веселья нет. — Женщина вдруг залилась слезами. — Худой, страшный, ровно индianин — весь в шкурах. Не мылся поди долго?

— Все бывало, — весело сказал Загоскин и прошелся по кухне.

— Да ты еще и хромой, — сказала женщина, вытирая слезы. — Ранили или зашиб чем?.. Иглой, говоришь, проколол?.. Вот страсти какие! Завтра к лекарю сходи. Ну, тебе комнату твою открыть? Сейчас открою, там все в порядке, никого не пускала. А ты что стоишь, словно идол? — вдруг напустилась она на Кузьму. — Ишь какой страхолюдный, рогатину свою в дом затащил, не спросясь. Иди в сени ее поставь, в угол. Где это вы, Лаврентий Алексеич, такое пугало достали? Палку в губу застремил и думает, что очень даже хорошо.

Кузьма, ворча, вынес копые из кухни.

— Ты его не обижай, — сказал Загоскин. — Он мне, Таисья Ивановна, жизнь спас.

— А он язычник? — спросила женщина.

— Нет, крещеный.

— Что крещеный, это хорошо, а зачем у него палка в губе? Срам один смотреть. И рогатину за собой таскает. А может, и ничего чело-

век, даром что из индиан. Ну, я тебе верю. Как звать-то его?

— Кузьмой.

— Имя хорошее. А что он — у тебя будет жить?

— Пока поживет. Ты его, говорю, не обижай.

— Обижать зря не буду. Только пусть воронам не молится. А то я индиан знаю: в церкви лоб себе расшибает при народе, а потом на ворона глядит умильно и творит языческую молитву. Тьфу!

— Вот сама увидишь — у него святой Никола с языка не сходит.

— Ну ладно, пусть живет: чай, не язычник. Пойдем жильё твоё отомкнем.

В прохладной комнате Загоскина темнели полки с книгами, висели пестрые карты.

— Все так, как при вас было, Лаврентий Алексеич. Пусть ваш индианин вещи заносит. А я пойду, у меня делов на кухне много.

— Посиди немного, Таисья Ивановна. Ты мне скажи, как у тебя дело-то, подвинулось хоть немного?

— Да все так же, Лаврентий Алексеич, — вздохнула женщина. — Вот теперь добрые люди научили господину Нахимову отписать, — может, они помогут. Помню я сама Павла Степаныча, когда они здесь были: такой простой да обходительный. Они из себя немного горбатенькие и рыжеватые, но очень добрые и справедли-

вые. Когда из Кронштадта последний корабль приходил, то я у командира спрашивала, где господин Нахимов сейчас находятся, а он ответил, что на Черном море. Обсказал, что надо писать в Морской штаб, а оттуда Павлу Степановичу перешлют. А уж они окончательно похлопочут, даже до сената дойдут... Теперь мне толмач Калистрат обещал прошение составить, а вы, Лаврентий Алексеич, напишете.

Таисья Ивановна Головлева, стряпка, жившая в услужении у одиноких служащих, была живой историей Ново-Архангельска, если не всей Русской Америки. Ее привезли на остров Кадьяк маленькой девочкой в 1794 году, когда Шелехов истребовал в Иркутске первых переселенцев для Аляски. Родители ее возводили вместе с Барановым крепость Ситху, застраивали Якутат; отец Таисьи ходил с отрядом Кукова закладывать форт Росс в Калифорнии. Восемнадцать лет Таисья вышла замуж за слесаря Головлева, мастера на все руки. Он чинил бастионные пушки, лил колокола для продажи в Калифорнию, исправлял ружья и помог отцу Вениаминову соорудить башенные часы на колокольне Ново-Архангельска.

Головлев умер во время одной из ситхинских голодовок. Российско-Американская компания не успела выплатить ему жалованья и наградных за выслугу лет. Так и началось горе Таисьи. Головлева, его золотые руки, хорошо знал Александр Баранов, но с его смертью

исчезли надежды на получение вдовьих денег. Уехал в Россию старый барановец Кусков, кончил службу в Ситхе Кирилл Хлебников, и память о слесаре Головлеве умерла навеки. Последний свидетель — современник Баранова — монах Гермоген удалился от мирских забот в келью на Хвойный остров. Отшельник не хотел помочь Таисье, как ни просила она его подтвердить службу и труды ее мужа в российско-американских владениях. Главные правители один за другим отказывали Таисье Головлевой в ее просьбах, в архивах никто рыться не хотел. Так и осталась Таисья Головлева ни с чем.

Командиры кругосветных судов из Кронштадта знали эту статную женщину с широким лицом; она не раз передавала им прошения для доставки в Петербург. И каждый раз она ждала ответа и справлялась у капитана корабля, пришедшего в Ситху, не привез ли он решения по ее делу. Только однажды пришел ответ. Главный правитель вызвал Таисью Ивановну к себе на Кекур и прочитал ей решение правления Российско-Американской компании в Санкт-Петербурге. Вдове слесаря Головлева надлежало объявить выдержку из высочайшего указа, данного правительствующему сенату в 24-й день ноября 1821 года. Правитель целиком прочел пункт 36-й этого указа: «Если какое-либо прошение или другой какой-либо документ или бумага будут поданы или присланы через почту

от частного лица и окажется, что оный писан на бумаге низшего достоинства, или в приложениях не будет соблюдено правило, указанное в 34-м пункте постановления, то таковое прошение с приложениями оставлять без действия и без всякого по оным производства...»

— Значит, я все прошения зря подавала? — спросила с тоской Таисья Ивановна.

— На гербовой надо было представлять, — сказал главный правитель и приказал Таисье расписаться в том, что ей объявлено решение Компании. По неграмотности вдовы расписался за нее толмач Калистрат, а Таисья Ивановна, заплакав, отправилась домой...

И вот сколько уж лет подряд она живет мечтой получить вдовьи деньги от Компании, построить домишко у Средней крепости, завести огород и продовольствовать мореходов с кораблей. Руки у Таисьи Ивановны были золотые. Если у нее спросить, она показала бы письменные свидетельства, выданные ей в разное время разными людьми: флота мичман Завалишин пишет об отличной починке парадного мундира, Кюхельбекер со шлюпа «Аполлон» — о кушаньях отменного качества, кои готовила вдова слесаря Головлева. И Баранов Александр Андреевич выдал ей свидетельство в том, что засолку семги для подарка королю сандвичскому Томеомею Первому производила именно женка ремесленного человека Таисья Головлева. Ох, как давно это было!.. Не помогла



Таисье барановская бумага: помянуто только в ней, что Головлев был ремесленный человек, а сколько лет служил и где — не было указано. Монаху Гермогену на Хвойный остров Таисья Ивановна с оказией как-то поясок шелковый своего рукоделья посылала, думала, что отшельник смягчится и напишет ей подтверждение о муже. Но Гермоген кадьякский поясок вернул и сказать велел, что мирских даров, особливо от женщин, он не приемлет, потому в них соблазн скрыт. Одно теперь оставалось Таисье Ивановне — на картах гадать о своем заветном деле. И выпадать стал все денежный интерес от трефового короля из казенного дома. «Трефовый король, известно, военный и под Павла Степаныча Нахимова весьма подходит», — думала Таисья.

...Закончив хлопоты по кухне, Таисья Ивановна постучала в дверь Загоскина. Она застала его и Кузьму за разборкой вещей, привезенных из похода. Загоскин с видимым удовольствием раскладывал бумаги по ящикам стола.

— Я вам поесть сготовила, Лаврентий Алексеич, — сказала Таисья. — Пусть ваш индеец чуть погодя на кухню зайдет за подносом. Грузди якутские соленые, очень замечательные, наважка жареная да вареная треска. Малины с островов мне индианские женки наносили, поешьте с богом. Не знаю, много ли картошки этот год у нас уродится, а так все есть. И мясо скоро будет, промышленные в горы

за дикими баранами идти собираются. У главного правителя нир какой был! — внезапно вспомнила Таисья. — Гости были из Гудзонской компании — кораблем приходили. Из пушек палили, музыка была. Меня стряпать на Кекур вызывали, два дня я от плиты не отходила. Рома, вина там сколько выпили — не счесть! Какой-то главный был, вроде как из военных. Правитель наш очень обходителен с ним был. Да, ведь чуть не забыла! Калистрат-толмач сюда от правителя приходил и тебе передавал, что, мол, когда Загоскин явится, пусть сам к правителю не идет, а ждет, когда вызовут. И еще наказывал, чтобы, как ты приедешь, то непременно бы на бумагу списал, как есть полно и по порядку, где был, что видел — всю путешествиею свою, ни одного дня не упустив. И так Калистрат передавал, что если не сделаешь такой бумаги, то будет строгое взыскание. А без бумаги на Кекур не приходиться. Калистратка долго тут у меня сидел, все похвалялся, что ему награда скоро выйдет. Вздорный толмачишко, не люблю я его. А знает он много, — продолжала Таисья Ивановна, — все с писарями вокруг начальства: не без того, конечно, чтоб на ушко о других людях не сказать. И что-то он на тебя, Лаврентий Алексеич, плетет, а что точно — я понять никак не могла. Я ему, ироду, рому поднесла, было у меня малость сбережено, — выпросить хотела. Но он хитер, затаился и ничего не объяснил. Обмолвился

только так, что знает про тебя важное дело, но оно есть военная тайна. Дурак, и уши холодные, прости господи! Тайна та известна правителю, попу Якову, сержанту при батарее Левонтию да ему, Калистратке. Я его тогда сразу прогнала. Он рассерчал и говорит: «Припомнит господин правитель индианский набег твоему Загоскину...» Я на его напустилась, а Калистратка все одно твердит про какой-то набег. «Что же мы,— я его спрашиваю,— про набег этот не знаем?» Он и отвечает: «Набег тайный был и отражен был тайно, никто об этом не знал и знать не будет». Ну, я тогда его отсюда и понужнула! «Уходи,— говорю,— пока помелом по спине не получил, а то я сейчас тебя сама к их высокоблагородию на Кекур сведу. Там тебе пропишут ижицу, как болтать да людей запутывать». Ну, Калистратка шапку в оханку и убрался...

— Ерунда какая-то,— сказал Загоскин.— Что ты его, Таисья Ивановна, слушала? Он, наверно, до тебя где-нибудь рому хватил. Ты лучше погляди, камень какой с неба упал, а мы с Кузьмой его нашли.— Он поставил осколок юконского метеорита на стол, рядом с чернильным прибором.

— Неужто с неба? — всплеснула руками Таисья.— У нас меж народа загадывают что-нибудь, как падучую звезду видят... А что я спросить хочу у тебя, Лаврентий Алексеич: вы как думаете, на картах все интерес от трефового

короля выпадает? Ну, пусть король — господин Нахимов будут, так ведь они ж на корабле, а мне выходит казенный дом. Вот если бы корабль какой-нибудь в картах означался, а то — казенный дом.

— Наверно, Морской штаб,— улыбнулся Загоскин.

— Вот и я так думаю,— обрадовалась Таисья Ивановна.— Погоди-ка, я сейчас в кухню выйду. И ты пойдешь со мной,— сказала она Кузьме.

Они вернулись вместе. Кузьма нес поднос с едой, а женщина — какой-то белый сверток.

— Правителю-то будешь писать, так возьми. Штурман Кашеваров мне подарил, у меня еще есть.— Таисья протянула Загоскину большой лист гербовой бумаги.

— Спасибо, Таисья Ивановна, не нужно. Я и на простой,— растроганно сказал Загоскин.— Добрый ты человек!





ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Так началась жизнь Загоскина в Ново-Архангельске. Привычка к странствиям долго властвовала им: он не мог заставить себя переменить свой наряд на обычный. Поверх чистой рубахи Загоскин по-прежнему надевал куртку из оленьей замши. Но бороду он сбрил, постриг волосы и сразу помолодел лет на десять. Он с каким-то иступлением принялся за работу. Кроме доклада главному правителю, Загоскин написал в течение каких-нибудь нескольких дней «Заметки о краснокожем племени ттынайцев в верховьях реки Квихпак». На листе бумаги были записаны темы ближайших работ: «Описание полуподземных жилищ приморского народа кан-юлит», «Краткая история Михайловского редута», «Приливы в дельте Квихпака»... Работал Загоскин больше ночами, когда в доме все спали и Кузьма не надоедал ему

вечными своими заботами. Старый индеец подружился с Таисьей Ивановной; он колол ей дрова, ходил за водой на колодец к подножию Кекура. Женщина отучила Кузьму от привычки носить с собой всюду копьё.

— Ты ведь на колодец идешь, а не куда-нибудь в лес, — говорила она. — Никто рогатину твою не украдет из сеней, пусть там стоит. Палку-то из губы вынимай хоть при мне да когда пьешь или ешь чего... Грех один с тобой, Кузьма. Кажись крещеный, а дикости в тебе еще сколько!

Таисья Ивановна обучила Кузьму играть в карты. Узнал Загоскин об этом от нее. Она пришла к Загоскину, когда Кузьмы не было дома, и положила на стол плотную, толщиной в руку, связку из нитей бисера. Это была, безусловно, дорогая для Кузьмы вещь: такие перевязи индейцы носят, надевая их через плечо, лишь в торжественных случаях.

— И вот еще раковины его, — сказала Таисья Ивановна, высыпая на стол пригоршни две цуклей, которые у индейцев служили вместо денег. — Все он с себя проиграл. Спрячь, Лаврентий Алексеич, да ничего ему не говори. Я тут одно дело задумала...

Часто Загоскин уходил из Ново-Архангельска, скитаясь по острову. Он углублялся в дикий бор, где стоял прелый запах от завалов гниющих вековых деревьев. Местами лес был непроходим; даже в солнечную погоду он был

сырым и холодным. Болота и лесные озера блестяли, как черные зеркала. Хвощи светились от избытка влаги, голубоватый мох был студеным и чистым. Казалось, что стоит лишь дохнуть на веточку мха — и она покроется легкой пеленой. Когда появлялось солнце, оно освещало только окраину леса, не проникая вглубь, и хвойные вершины покрывались легкой дымкой. Кузьма обижался, что друг не берет его с собой, и Загоскину приходилось уходить из дому тайком.

Выходя из Полуденных ворот, он с улыбкой оглядывался назад: не идет ли вслед Кузьма? Но индеец, ничего не подозревая, таскал в это время Таисье Ивановне воду и дрова или вместе с ней караулил огород. В крепости эту обязанность несли все по очереди, так как индейцы-кóлоши часто вооруженной рукой захватывали ситхинскую картошку.

Загоскин любил уходить на берег морской бухты, где, как громадный серебряный молот, стучал и гремел водопад. Маленькие радуги сияли в облаках водяной пыли. Второй водопад низвергался в глубочайшее озеро, образовавшееся после землетрясения и лежавшее выше уровня моря. Этот водопад шумел возле Озерского редута, вокруг которого поднимались вершины снежных гор. Было еще одно место на острове Баранова, куда любил уединяться Загоскин. Нужно было пройти двадцать миль к северу от Ново-Архангельска, чтобы увидеть высокие столбы пара, встающего над береговым

холмом. На склоне холма белели бревенчатые хижины, окруженные зелеными кустами и густыми деревьями. Из земли били горячие ключи. Их тепло давало жизнь травам и деревьям; ранней весной, когда кругом еще лежал снег, здесь все было в цвету. Стаи колибри кружились над яркой зеленью, припадали к цветам, чтобы пить сок из маленьких душистых чашечек.

Загоскин наблюдал здесь за расправой колибри над их вечными врагами — совами. Завидев хищника, маленькие сверкающие птицы, собравшись в огромную стаю, устремлялись на врага. Колибри ударялись о грудь и крылья совы. Десятки отважных колибри падали вниз, пламенея яркими зобами и погасая в густой траве, новые стаи яростно накидывались на хищника. И тот, ослепленный этим сверкающим натиском, растерянный и жалкий, искал спасения в расщелине скалы или дупле. Живое радужное облако долго еще кружилось над убежищем посрамленной совы. Точно так же колибри расправлялись и с соколами... На серных ключах Загоскин лечил руки, простуженные во время скитаний по Квихпаку: подолгу держал их в горячем источнике.

Загоскин не раз переправлялся на материк через Худновский пролив и один бродил вдоль берегов лесных озер. Иногда он встречался с индейцами-колошами. Их лица были вымазаны киноварью, волосы осыпаны орлиным пухом.

Расписные плащи из кедрового лыка скрывали стройные тела индейцев. Встреча с индейцами не сулила ни одному белому ничего хорошего. Но Загоскина колоши не трогали, может быть, потому, что он первым окликал их на родном языке и клал ружье на землю в знак того, что он не хочет причинять зла лесным охотникам. Колоши часто даже показывали ему тропы в лесу; не раз он сидел у индейских костров.

— Смотрите, Лаврентий Алексеич, — говорила укоризненно Таисья. — Убьют вас когда-нибудь индиане, непременно убьют. — И качала головой. — Тут из крепости даже днем боязно выйти, а вы один-одинешенек за Хуцнов подались. Что же ты, Кузьма, за ними не смотришь, пускаешь их одних на такой страх?

После скитаний по острову Загоскиным обычно овладевала жажда общения с людьми. Тогда он, по выражению Таисьи, «блажил». Его можно было увидеть у палисада крепости, в том месте, где к ограде примыкали шалаши индейцев и землянки алеутов. Он без цели бродил там, дарил детям и женщинам цветной бисер, разговаривал с охотниками и рыбаками. Он был щедр. Бисерные нити лежали у него в карманах, в сумке, и он раздавал их, не считая.

— Сколько аршин роздал? — сокрушалась Таисья Ивановна. — Да он бы тебе, бисер-то, пригодился самому. Те же деньги — мехов бы себе наменял у индиан. А то все даром пошло,

через меру добрый! Вот они тебе за этот бисер нож еще когда-нибудь всадят в спину.

Не одобрила Таисья Ивановна и затею Загоскина сделать сетку для ловли колибри.

— Вот еще, дитя малое! Ну, ты их наловишь, а кормить чем будешь? Иди уж лучше бумаги пиши. Ты путешествию-то свою для главного правителя сделал? Ну, еще чего-нибудь пиши. Я тебе свечи сегодня переменила... Чем пичужек ловить, ты мне лучше пару тетеревей принеси, как в прошлый раз. Кузьма, сходи ты с ним на охоту завтра али рыбы половите. В Кóлошицке-речке, сказывают, крупная рыба пошла. Невод я дам, его только починить малость надо. Иди, Кузьма, возьми его в чулане.

Загоскин заметил перемену в наружности Кузьмы, но все забывал спросить у индейца, чем вызвана эта перемена. У Кузьмы куда-то исчезла палочка из нижней губы. Все объяснила Таисья Ивановна:

— Я заметила, что он к картам пристрастен, и придумала, как палку у него отобрать. Все с ним в «подкидного» на огороде дулась, бисер да цукли у него выиграла. Потом говорю: «Кузьма, я табаку поставлю, а ты колюжку свою ставишь на кон». Ну, я колюжку выиграла. Он морщится — неохота с таким добром расставаться. Однако отдал. Я ее в тот же день в печку кинула; хватит, насмотрелась на эту срамоту! И сразу, как палку вынул, более стал на человека походить... А вообще он на редкость

правильный индianин и рассудительный и по-русски знает все же. Он мне часто рассказывает, как вы с ним бродили. Пусть бы он здесь жил — мне он нисколько даже не мешает, и — опять — руки у него добрые, по хозяйству все решительно может помочь... А с палкой я его здорово провела...

Однажды Загоскин послал Таисью Ивановну с запиской к отцу Якову, настоятелю новоярхангельской церкви. Священник славился как любитель книг. В его ведении находилась знаменитая библиотека Русской Америки, привезенная еще Лисянским. Таисья Ивановна вернулась от священника с томиком, переплетенным в телячью кожу.

— Передавал, что держать можете сколько хотите, только чтоб никому другому не давать. Еще сказывал: пусть и Загоскин заходит, как время свободное будет. Тоже сочинитель отец Яков, вроде тебя. Ряску скинул, в жилеточке одной сидит и что-то все пишет. И про тебя спросил: «Сидит, поди, сочиняет?» И книг — ужас просто сколько у него! — умилилась Таисья Ивановна.

Загоскин раскрыл принесенную книгу «Современника» за 1836 год. В ней рассказывалась удивительная история белого человека, прожившего тридцать лет среди индейцев. Джон Теннер — так его звали — сочинил записки о своих скитаниях с охотничьим племенем. Об этих записках и рассказывал неизвестный автор

большой статьи, укрывшийся под псевдонимом «The Reviewer»¹. Загоскина поразило неравнодушие к судьбе человека, проданного индейцу Нетно-куа за табак и бочонок водки, сочувствие к диким племенам, скитающимся в лесах и пустынях. «Обозреватель» подробно излагал содержание записок индейского пленника и особенно ценил сочинение Теннера за то, что жизнь он изобразил во всей ее суровой правде, чего не сделали ни Купер, ни Шатобриан.

«Эти записки драгоценны во всех отношениях. Они самый полный и, вероятно, последний документ бытия народа, коего скоро не останется и следов. Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека». Эти слова «Обозревателя» Загоскин отчеркнул ногтем.

Другую фразу он выписал целиком, тщательно выводя буквы. Он перечитывал эти слова несколько раз, думая, что они — лучший эпиграф.

«Это — длинная повесть о застреленных зверях, о мятелях, о голодных дальних шествиях, об охотниках, замерзших на пути, о скотских оргиях, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованных...»

Загоскин думал о том, как верно выражено

¹ «Обозреватель».

все в этих немногих словах. И он невольно вспоминал юконские выюги, охоту на оленей и медведей, жилища народа кан-юлит, торжества охот и праздник мертвых. Ведь все это он видел своими глазами, прикасался ко многому своими сильными руками. Но его часто мучили сомнения, как описать все это не только с точки зрения ученого. Научные описания у него получались. Но Загоскину хотелось иного. Как передать на бумаге картину северного сияния, серебряный грохот водопада, кружение радужных птиц над раскрывшимися цветами? Как показать душу индейца Кузьмы, рассказать о подвигах девушки-тойона Ке-ли-лын? И наконец, самым трудным Загоскину казалось писать о себе, особенно о тех мгновениях великого душевного напряжения, которые зовутся подвигом, любовью, отвагой и без которых немислима была для него жизнь.

Он в отчаянии бросал перо, сознавая, что такой дар — удел немногих, рвал на мелкие клочья то, что уже успел написать, хватал ружье и уходил на Лебяжье озеро стрелять уток.

— Задичал совсем мой Лаврентий, — вздыхала вслед ему Таисья Ивановна. — Ишь до чего книжки людей доводят! Напрасно я к попу ходила. Хоть бы женить парня на креолке, что ли... Да куда там! Говорил, что в России его какая-то ожидает.



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В Ново-Архангельске произошло радостное для многих событие. Американский шкипер привез на корабле «Аргус» ром с Гавайских островов. Население крепости находилось в приятном возбуждении, и почти все жители Ситхи ходили на пристань смотреть, как с корабля на берег по деревянному молу перекачивали бочки с клеймом «РАК» — «Российско-Американская компания». Один вид огромных посуды с крепкой влагой наполнял сердца ситхинцев трепетом. Ром распределяли с большой оглядкой, но каждый надеялся его получить. Так, многие переводили на ром подлежащие возврату долги, другие умоляли непьющих, но имеющих право на получение рома уступить свою порцию за деньги или меха. Шинкари ходили по крепости с важным и неприступным видом, давая понять, что теперь от них зависит

многое. Несколько человек из промышленных сказались хворыми и захотели лечь в больницу, так как некоторым больным давали там за счет Компании ром. Главный лекарь, добрейший старик Флит, из кантонистов-выкрестов, привыкший к этим уловкам, покачивал головой и спрашивал: «Что болит?» У всех промышленных почему-то была ломота в руках и спине. Флит ласково шурился, долго сочувствовал, а потом проникновенно советовал «больным» ехать на Сандвичевы острова — там вся ломота пройдет: в Гонолулу рому хватает.

Толмач Калистрат в эти дни не отходил от крыльца больницы. Вот где он мог применить свои полицейские наклонности! Лишь только в дверях показывались изгнанные лекарем любители рома, как Калистрат опрометью мчался за батарейным сержантом Левонтием. Вместе с ним толмач тащил мгновенно исцелившихся промышленных на Кекур, откуда правитель отсылал их в Хуцновский пролив ловить тюленей. Калистрату и Левонтию за проявленные отвагу и находчивость перепадало по лишней чарке рома. Добрый лекарь Флит каждый раз сокрушался о том, что становится невольной причиной кары, постигшей промышленных, но быстро успокаивался после мензурки-другой гавайского рома и брел на Кекур в бильярдную играть с главным правителем или с преосвященным.

Отец Яков жил в верхнем этаже дома, внизу

помещались больница и аптека. Загоскин, гуляя по крепости, увидел голову отца Якова в окне; он любовался сценой изгнания любителей рома из больницы.

— Благословен грядый во имя господне! — воскликнул отец Яков, заметив Загоскина. — Заходи, Лаврентий Алексеевич, не стесняйся!

Священник встретил гостя на пороге. Отец Яков был небольшого роста; седые волосы, заплетенные в косу, голубая рубаша в белую горошину, черная жилетка, гусиное перо за ухом — таким он предстал перед гостем.

— Да к руке можешь не подходить — благословлять не буду, сейчас я в домашнем виде! — благодушно сказал священник. — Вот так лучше. — Он сжал сухой, маленькой рукой большую ладонь Загоскина. — Садись. Сейчас — я только до точки допишу... — Он вытащил из-за уха перо и сел за стол. — Погляди пока книги.

Загоскин придвинул к себе стопку книг. Это были новинки последних лет.

«Указатель пути в царствие небесное; поучение на алеутско-лисьевском языке», — прочел Загоскин и улыбнулся.

— Занятный путеводитель у вас, отец Яков.

— Ну, ты у нас афей¹ известный, — откли-

¹ Афей, афеист — атеист.

кнулся священник, поскрипывая пером. — Рассеиваем мрак идолопоклонства, несем свет истинной веры грубым дикарям.

И воссиял свет невечерний
На Алеутских островах, —

с чувством произнес отец Яков. — Это сложено в честь нашего преосвященного, но как бы про всех нас, здешних духовных...

Остальные книги были все в том же роде: краткий катехизис на алеутском языке, извлечения из священной истории, молитвы, переведенные на туземные наречия.

— Готово! — сказал отец Яков, вытер тряпочкой гусиное перо и отодвинул бумаги. — Теперь мы за твой приезд можем выпить. Давай по-холостяцки здесь соберем, не будем попадью мою беспокоить. Я сейчас...

Вскоре отец Яков восседал рядом с Загоскиным за большим столом посреди кабинета.

— У нас в семинарии эти дела выходили покрепче, пожалуй, чем у вас во флоте, — говорил отец Яков, показывая на ромовую бутылку. — А ну, давай за его величество короля гавайского Томеомео Третьего! Пьем от его щедрот. Лекарь внизу поди от зависти зубами щелкает — мало ему досталось. Ну а нам-то уж — в первую очередь. Ну и ром — затылок ломит! Знаешь, что я сейчас делал? — оживился священник. — Рождественский тропарь на колошенский язык перевел.

Загоскин даже стакан поставил обратно на стол от изумления.

— Это вы серьезно, отец Яков?

— А как же. Хочешь, прочту? Хотя подумаем. Трудно только: «волхвов» никак не переведешь, нет у колошей такого понятия — «волхвы». Ну и пришлось строчку пустую оставить — потом додумаю.

— Вы меня извините, дело не мое, — резко сказал Загоскин, — но прежде чем индейцам преподносить рождественский тропарь, им бы хоть муки да других каких припасов дать. Да не только индейцы! Лукин и Глазунов без хлеба сидят.

— Э, что ты поешь, Лавруша! — И отец Яков, уже захмелевший, погрозил пальцем. — Это — чистое афейство, и — хуже того — повторяешь ты аббата Рейналя. Вон он, голубчик, у меня направо на полке стоит, перевод Городчанинова. А сей Рейналь, если ты хочешь знать, опаснее Вольтера. Вот ты каких мыслей набрался... «Философическая и политическая история о заведении и коммерции европейцев в обеих Индиях, сочиненная аббатом Рейналем», — прочел священник наизусть название книги. — Смотри у меня! Ты и у святого причастия не бывал, хотя трудно с тебя взыскать — ты все бродил где-то.

— Не мог же я у Лукина причащаться, батюшка, сами посудите, — улыбнулся Загоскин. — Кстати, послушайте, как он там эскимо-

сов крестит.— Он вытащил из кармана малиновые святцы.

— Ты к вопросам веры с усмешкой относишься,— сердито сказал отец Яков.— Ничего смешного тут нет. Лукин — достойнейший ревнитель христианства на Аляске.

— А вы послушайте, что ваш достойный ревнитель творит.— И Загоскин рассказал всю историю с именами, которых нет в святцах.

Священник задумался. Он, видимо, не знал, что ему делать — улыбаться или сохранять суровый вид до конца.

— Лукин это из ревности к вере сделал,— назидательно сказал отец Яков.— Но не совсем складно получилось, конечно.

— А я их взял и перекрестил всех,— весело сказал Загоскин и налил себе рому.

— Как так? — опешил священник.

— В троицын день... Всех до единого. Если хотите — я вам рапорт составлю. Вот имена их новые записаны.

— Какое ты право имел на это?

— Такое же, какое и Лукин...

— Лукин, Лукин... Он к принятию священного сана давно готовится — всей жизнью своей, подвижничеством. Он, яко Стефан Пермский и иные смиренные проповедники первые, варваров просвещает.

— Вот вам и подвижник, а натворил дел! Просветил, нечего сказать...

— Он от чистого сердца, а ты от афейского

духа... Ну ладно, не будем ссориться. Чем же мне волхвов заменить?.. Шаманами нельзя — будет великий соблазн. С именами, которые Лукин дал, получается действительно неудобно. Хоть и родословная Иисуса, а имена-то все языческие. Кускоквим считается как бы в моем приходе, и вдруг там обнаруживается вроде ереси. И святейший синод может сказать: где ты, отец Яков, был?.. Кабы не в моем приходе, так пусть Лукин Иродами и Иудами всех подряд бы называл... Давай, сын мой, еще выпьем.

Гавайский ром ударил им в голову. Комната плыла в глазах Загоскина. Отец Яков без умолку говорил. Он рассказал о приезде в Ново-Архангельск директора Меховой компании Гудзонова залива, о продаже форта Росс в Калифорнии какому-то капитану Саттеру, о последних изобретениях преосвященного... Когда у отца Якова стал заплетаться язык, он вдруг стал обидчивым и подозрительным.

— Ты что думаешь, Лавруша, я пьян? Хочешь, я тебе без запинки «Отче наш» поиндейски прочту?.. Аиш ааги, кусу Тыкик сна-тыгиа укатуванн исаги... Аиш... аиш... Нет, не аиш... Антенкаты... етуккасты... Погоди... Аиш... Пей за короля гавайского! Он там у себя конституцию ввел... Пей, Лаврентий-вольнодумец! Поможешь мне тропари и кондаки на кенайское наречие перевести. А не переведешь — никогда тебя не выручу. Ты на себя и так гнев правителя навлек.

Захмелевший священник подошел к письменному столу и вынул из оловянного стакана пук гусиных перьев.

— Я сейчас индейца изображу, — забормотал он, втыкая концы перьев в свою косу. — Теперь я не священнослужитель, а колошенский тойон. И синода я не боюсь. Синод в Санкт-Петербурге, а здесь российско-американские владения — руки короткие! — засмеялся отец Яков, подходя к окну.

— Батюшка, постыдитесь! Вас с улицы увидят!

— Ну и пусть все видят! Пусть видят, как я здесь мучаюсь с волхвами всю жизнь, и никто мне спасибо не скажет. В России я теперь бы уже академиком был. Не забудь — с митрополитом Евгением мы старые товарищи, однокашники...

Потом отец Яков стал капать на подоконник ром, объясняя, что колибри будто бы очень его любят. Затем мысли и слова его стали путаться. О чем он только не бормотал! Он, отец Яков, скоро причислит к лику святых покойного монаха Ювеналия; преосвященный изобрел вечный двигатель; король гавайский собирается принять православие и пригласить для обряда крещения отца Якова; на индейский язык надо перевести всю Библию целиком, и Загоскин должен помочь в этом отцу Якову — их за такой подвиг наградят: отца Якова — наперсным крестом с бриллиантами, а



Загоскина — орденскими знаками Владимира 1-й степени.

Потряхивая косой, убранный гусиными перьями, отец Яков излагал различные собственные проекты, как-то: введение в Северной Америке повсеместно до 60° северной широты причащения не просфорами и церковным вином, а корабельными сухарями и ромом. Просфоры все равно черствеют в пути, а церковное вино есть только в Ново-Архангельске, и то не всегда. Следует только официально утвердить и ром и сухари. Для полного обращения индейцев в христианство надо дать духовное образование ситхинскому тойону Кухкану, а потом придумать для него особый сан и титул, которые бы включали слово «всеиндейский».

Отец Яков нахваливал господина Рахижана. С ним вместе отец Яков задумал написать высоко нравственную трагедию о гибели монаха Ювеналия в поучение всей Аляске, а особенно тем, кто погряз в грехах многоженства. Ведь известно, что монах рьяно искоренял именно этот пагубный обычай среди краснокожих.

Господин Рахижан, состоя при особе главного правителя, слыл тонким знатоком словесности и наук, хотя его чаще видели за игрой на бильярде. Рахижан был близок к науке еще и тем, что страстно собирал коллекцию деревянных и костяных дубин. Отец Яков с умилением рассказывал, что Рахижан посылал описание своих дубинок «самому Булгарину» и тот вос-

торженно оценил благородное рвение Рахижана. Однако главный правитель запретил Рахижану появляться с любимой его дубинкой...

Загоскин молчал, слушая разглагольствования священника.

— Ты думаешь, что я пьян? — приставал отец Яков. — Нет, шалишь. Я все помню и знаю. Сейчас со мной сидит бывший флота лейтенант Лаврентий Загоскин, вольтерьянец и афей. Я все знаю. Что же ты, Лавруша, мне не расскажешь, как ты на Квихпаке женился без церковного обряда? Видишь, мне все известно. Я даже эту девицу сам своими глазами зрел, имел счастье. Решительная девица... Но... закоренелая язычница и обряда святого крещения упорно не приемлет... Поговорили мы с ней, но сойтись никак не могли. Стой, как бишь ее зовут? Ке... Ки... нет, не Ки... Ке... а вот дальше позабыл. Король гавайский, что ли, память мне отшиб! Зато сержант Левонтий и Калистрат ее хорошо запомнили — она их чуть кинжалом не зарезала...

Загоскин сразу отрезвел. Откуда священник знает о Ке-ли-лын? При чем здесь сержант и толмач? Смутная догадка мелькнула в сознании Загоскина. Он быстро встал. Немного подумав, налил себе полный стакан рому. Волнение его было скорее радостным, чем тревожным.

— Книгу я пришлю, отец Яков, — сказал Загоскин, прощаясь со священником. — Мне

она еще на один день понадобится. Вы, кстати, не знаете, кто этот сочинитель, который «Обозревателем» подписался?

— Нет, афей, не знаю,— ответил поп, видимо трезвея. Он вынимал гусиные перья из косы.— Но пагубные мысли Рейналевы и в этого сочинителя проникли и кое-где явственно видны. Рейналь же призывает народы дикие к неповиновению, мятежам...

— Не вижу я там Рейналевых мыслей, отец Яков,— сказал Загоскин и вышел из комнаты.

— Где тебе видеть! — насмешливо прокричал ему вдогонку поп.





ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Загоскин быстро шагал вдоль стены с батареей из двух пушек к казарме в Средней крепости. Сразу же за казармой открывался вход в Верхнюю крепость, где у подножия Кекура был расположен плац. С плаца к дому главного правителя можно было попасть лишь по трем отлогим, широким лестницам. Они охранялись шестью орудиями, установленными на плацу. Орудия, мачта для флага и трапы входа на Кекур находились под охраной «батарейного сержанта» Левонтия, как его всегда называли, и одного отставного солдата.

Левонтий был существом тихим и безответным в трезвом виде, но буйным во хмелю. Вечными врагами его были ситхинские черные вороны. Пользуясь безнаказанностью, священные птицы индейцев старались оставлять следы своего пребывания на ярко начищенных стово-

лах пудовых единорогов и тридцатишестифунтовых морских пушек сержантовой батареи. Левонтий с орудийным банником в руках метался по плацу, пугая вóронов.

Но ситхинские вóроны были известны своим упорством; по Средней крепости и по приморскому поселку разгуливали бесхвостые свиньи, а вóроны важно сидели на спинах свиней. Свиньи с отклеванными хвостами и выдранной щетиной боялись показываться на плацу, потому что Левонтий пугал их, искусно пуская по земле пушечные ядра. Зато от воронов не было отбоя! Они с криком кружились над батареей или безмолвно сидели в некотором отдалении от Левонтия, как бы издеваясь над ним.

Увидев Загоскина, сержант вытянулся и взял под козырек, держа банник, как ружье, у плеча.

— Сколько раз я тебе, Левонтий, говорил, чтобы ты чести не отдавал, — сказал Загоскин. — Мне это не полагается. Понял?

— Так точно, ваше благородие, — бодро ответил Левонтий.

— И вовсе я не благородие, опять-таки много раз я тебе об этом говорил.

— Так, господин Загоскин, это мы из уважительности к вам, — сказал сержант. — Дозвольте с прибытием проздравить. Эх, проклятые, опять к батарее ладятся подобраться. — Он взмахнул банником. — До чего хитры чертовы птицы! Тихим образом подбираются, паклю

воруют. И за что только господь бог меня наказал! Ну да мы под барабаном воспитаны.

Сержант был суховатым, небольшим и каким-то незаметным человеком. Нос у него был, что называется, чижиком, всегда смотрел вверх — ни усов, ни бороды у сержанта не росло. Морщинки, как лучики, расходились от его глаз по лицу, на редкость невыразительному и потертому. Никто не знал, сколько на самом деле сержанту лет. Левонтий боялся больше всего собственной жены и главного правителя и трепетал перед ними.

Толмача Калистрата сержант просто боготворил, он его наделял несуществующими совершенными качествами, умилялся перед его знаниями, отвагой и общественным положением. Когда-то Калистрат втридорога продал сержанту старый, весь в заплатах сюртук, который, в свою очередь, сам получил от главного правителя в знак особой милости. И хотя сержант Левонтий утопал в сюртуке своего приятеля, чуть ли не наступая на истрепанные полы, он благоговейно объяснял всем, что сюртук носил сам толмач Калистрат.

Левонтий таскал за пазухой платок, в котором, завязанная в узелок, всегда хранилась полученная от жены полтина. Встречаясь со знакомыми, сержант развязывал платок и показывал полтину. При этом он объяснял, что полтину ему дала жена на расходы, что эти деньги нужно беречь, но и выпить тоже нужно. Тут же

сержант Левонтий застенчиво говорил, что ему известно, где сейчас можно было бы «пропустить». Друзья вели сержанта к шинкарю. Выпив, Левонтий начинал бахвалиться. Он кричал, что многие годы служил на Шилке-реке, что воспитан под барабаном. Пусть другие так беспорочно послужат! Сержанту Левонтию все доверено! Сам Калистрат, толмач, делится с ним всеми тайнами Кекура. К главному правителю без Левонтия никому не пройти! Даже старший индейский тойон Кухкан всегда у сержанта спрашивается... Сержант Левонтий кричал еще, что он, как человек честный, ничего не боится, царю он служит верой и правдой, а что у него, Левонтия, врагов много — так ему не страшно...

Потом начинались размышления, почему у сержанта не растут усы и борода. Оказывается, что дед его — тунгусский князец, а у тунгусов, известно, волос редкий и слабый. Когда сержанту казалось, что кто-нибудь не верит в его знатное происхождение, он вступал в драку, и усмирить его мог только один Калистрат. Но если слушатели выражали восхищение родословной сержанта Левонтия, он, нахваставшись вдовость, иногда запевал:

...Наша матушка Россия
Посылала нас насильно —
Город Ситху защищать,
От колошей сберегать.

Надо заметить, что толмач Калистрат не замедлил донести главному правителю о том, что сержант поет возмутительную песню. Защищать отечество и царя — есть священный долг солдата, никто насильно солдата «сберегать» Ситху не пошлет. За этот и еще другие доносы толмач Калистрат получил наградные к Михайлову дню и оловянную медаль «Союзная России», а сержанта главный правитель распек и выгнал с Кекура. Но Левонтий не только оправдывал донос Калистрата, но и восхищался им, как неким гражданским подвигом, и говорил, что толмач правильно поступил: никто от своей выгоды не откажется, к тому же он, Левонтий, был, безусловно, виноват, но песню пел без всякого умысла. Его, как воспитанного под барабаном, простили, Калистрата наградили, значит, все обошлось как нельзя лучше. И сержант вскоре был снова возвращен на батарею, где и пребывал с тех пор в полном благополучии...

— Промышленные проходили, сказывали, что ром привезли. Это в самом деле али шутят? — спросил Левонтий с надеждой и тревогой в голосе. Потом он вытащил платок и подбросил узелок на ладони. — Эх, всего полтина, а добавить к ней нечего, — сокрушенно пояснил сержант и заглянул в глаза Загоскину.

— На, выпей, — сказал тот, вынув из кармана приготовленную заранее полтину. — Слу-

шай, Левонтий, дело к тебе есть. Солдат ты или нет?

— Помилуйте, господин Загоскин... Всю жизнь под барабаном, на Шилке-реке служил, Петровского завода караульным сержантом был... Люди из благородных на меня не обижались... Как есть по присяге...— забормотал Левонтий.— Все знают... Все мне верят... Жена меня только одна высмеивает: какой ты, говорит, сержант... Так это она через то, что нрав у ней такой... Пронзительная, ее цыганкой считают...

— Да я про жену у тебя не спрашиваю,— невольно улыбнулся Загоскин.— Если ты солдат настоящий, то скажешь мне сущую правду. Что за набег на крепость был, а?

Он впился глазами в лицо сержанта.

Лучики морщин у глаз Левонтия дрогнули. Он опасливо поглядел на окна дома главного правителя — не смотрит ли кто оттуда на плац? Но окна были пусты.

— Был-то был, только это дело тайное,— сказал он глухо.— Калистрат не велел говорить...

— Я тебя не выдам. Никому не скажу.

— Вроде как набег, а вроде бы и нет,— промолвил Левонтий, опять посмотрев на окна.— Начальство так называет, значит, был набег. Начальству виднее.

— А что на самом деле было?

— Дальние индиане объявились в крепости.

Господина правителя требовали. Индейская девка у них за старшого. И в залив прошли не приметно... Возле ворот их только и застigli; Калистрат в обходе был... Но они очень-то и не таились. Дело было вечернее, опасности господин главный правитель боялись, но все, слава богу, обошлось.

Девка бойкая, господин Загоскин: чуть что — и за кинжал. Но Калистрат — отчаянной храбрости человек, богатырь, можно сказать... Индиан не так много было: девка, старый дикарь — на один глаз крив, молодой парень, да еще одного они с собой — своего же — связанного приволокли.

Загоскин схватил сержанта за плечо. Тот умоляюще и удивленно глядел то на собеседника, то на окна дома правителя.

— Пустите, господин хороший! — занял сержант. — Я службу справляю, на часах при батарее один. Их высокоблагородие увидят, что часовой дозволяет себя хватать. По уставу не полагается...

— А полтины брать полагается? Душу выну — говори всю правду! Где она теперь? А то не выпущу. — Загоскин тряс Левонтия за плечо.

— Девка-то где? — плаксиво спросил сержант. — Солить ее, что ли? Обратно уехала, и все индиане с ней. Да что вам об них беспокоиться? Как приехали, так и уехали.

— Так бы давно, дурень, ответил, — с облег-

чением сказал Загоскин. — Ну, за мной еще полтина. Что еще знаешь об этом деле? Только не ври, а то худо будет! — Он присел на медную пушку и в упор посмотрел на сержанта.

— На орудиях сидеть начальство не дозволяет, — сухо сказал Левонтий. — Оставьте орудию, господин Загоскин. — Но глаза сержанта блестели, а рука сама лезла за заветным платком. — Как вам все дело обсказать? — в раздумье промолвил Левонтий. — Мы, стало быть, с Калистратом девку эту в воротах под ручки взяли, а она ножом на толмача замахнулась: сама, мол, пойду. Тогда мы у них всю оружие взяли и повели к их высокоблагородию. Господин правитель были вечером в бильярдной вместе с отцом Яковом. Калистрат им все доложил...

И промеж них был крупный разговор. А уж о чем они говорили, понять я не мог, потому что в индианском наречии темен. Однако понял, что девка их высокоблагородие в чем-то упрекала и себя вела дерзостно.

Господин правитель расстроились от такого разговора и велели Калистрату принести из арсенала кандалов ножных четыре пары и кузнеца на Кекур вызвать, но вскоре раздумали. Потом мне приказали идти на плац, а Калистрата при себе оставили. И разговоры до полуночи были. А как полночь пробило, вижу — Калистрат идет с индианами от господина правителя и говорит, что индиан велено с миром

отпустить и без всякого шума. Ночью мы их из ворот вывели, до байдары проводили, часовым наказали их не трогать... Их на ночевку было приказано оставить, но индиане не захотели. Ну, как приплыли, так и уплыли. А Калистрат мне сказал, чтобы я языка не распускал. Ну, я по присяге и молчу.

По всему видно было, что сержант Левонтий не лгал. Больше этого, он, конечно, ничего и знать не мог. Расспрашивать Калистрата было бесполезно. Теперь Загоскин вспомнил о словах, сказанных вдогонку ему нечорским мещанином в Михайловском редуте. Значит, индейцы проплывали мимо редута и Егорыч виделся с ними.

Все теперь было ясно. Но как узнать, зачем именно Одноглазый и Ке-ли-лын были здесь? К отцу Якову обращаться теперь было нельзя.

— Давно индейцы здесь были? — спросил он уже более спокойно у Левонтия.

— Под конец весны. Снег уже всюду сошел. А вскоре и гости от Зоновской компании приплыли. Тут пошло пированье, и об индианах этих забыли. Да что вы, господин Загоскин, дикарей близко к сердцу принимаете? По мне, так их и вовсе не было бы. Одни хлопоты от них. Кыш вы, проклятые! — закричал сержант и взмахнул банником на воронов.

— Ну ладно... Больше мне от тебя ничего не надо, — сказал Загоскин и дал еще полтину Левонтию.

— Покорно благодарим, ваше... — сержант загнулся. — Всей душой рады услужить вам, господин Загоскин. Чай, понимаем, что вы хоть и лишенный, но из благородных. Мы при Петровскозаводских казематах находились...

— Сам не болтай, Левонтий, про наш разговор.

Лучики у глаз сержанта собрались в преданную улыбку.

— Не извольте беспокоиться. На нас, как на каменную стену, — сказал Левонтий, завязывая в платок полтину.

Загоскин отправился домой.





ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Главный правитель Российских колоний в Северной Америке только недавно был за выслугу лет награжден орденом Владимира 4-й степени. Поэтому он стал бояться принимать прямые решения по тем или иным делам и старался успокоиться на достигнутом. Оставаясь наедине с собой, он то снимал, то снова вешал орденский знак в петлицу или клал его на стол и долго рассматривал шелковую ленту с двумя черными и одной красной полосками и крест, где на горностаевом поле светились изображения вензеля и короны и была видна надпись: «Польза, честь и слава». Главный правитель умилялся этим словам. Он искренне думал, что лучше и не скажешь о его деятельности на благо отечества. Он приносил и приносит пользу, честь и славу некой части обширной Россий-

ской империи, расположенной на другом полушарии.

Эта часть империи раскинулась от мыса Барроу до границ Калифорнии и от Берингова моря до Скалистых гор. Страной нужно управлять с осторожностью и умением, а главное, с выдержкой и без ненужного риска. Поэтому он и представил правительству мнение о желательности продажи поселения Росс в Калифорнии. И построенная рукой Ивана Кускова на берегах пустынного залива Бодего крепость была продана, как продают на слом старый сарай. Правитель ходатайствовал о дальнейших уступках европейцам, и после этого частная Меховая компания получила в аренду земли и реки Русской Америки.

«Польза, честь и слава» оставались лишь словами, красиво и холодно блестящими на поверхности орденового креста. Для того чтобы соблюсти видимость упорного и повседневного труда и созидания, правитель придумывал парады, торжества, смотры в честь тех или иных событий. пышное пиршество по поводу открытия школы для креолов, молебн по случаю начала котикового промысла, трехлетие со дня принятия святого крещения главным индейским тойоном, юбилей освящения церкви на острове Уналашка — мало ли праздников можно было придумать! Находились даже свои историки, услужливо высчитывающие сроки различных годовщин для главного правителя.

Так, например, было решено отметить какую-то — правда, не совсем круглую — годовщину со дня мученической смерти монаха Ювеналия, убитого индейцами около озера Шелехова, или Илиамны. Празднество хотели проводить на месте с устройством живых картин и иллюминации. Тогда именно отец Яков и возмечтал о причислении Ювеналия к лику святых. Во время всех этих празднований гавайский ром лился рекой; пышные поездки совершались за счет Российско-Американской компании. Местные остряки, зная слабость главного правителя, пустили слух, что скоро будут устроены торжества по поводу пятилетия со дня извержения вулкана Шишалдина на острове Унимаке.

Смелые люди — все эти Глазуновы, Лукины, Колмаковы, безвестные русские промышленные, креолы и молчаливые алеуты — всю жизнь свою приносили пользу, честь и славу Аляске. Но их никто не награждал и не отмечал, они жили и умирали в неизвестности. Зато в Ново-Архангельске дни текли по заранее установленному порядку: сменялись караулы, отдавались и принимались рапорты, кому-то выдавались наградные к праздникам, кто-то объявлялся героем и на время упивался придуманной начальством славой.

Реки и горы, бобровые плотины и озера открывались людьми, которые годами питались черствыми сухарями и порою ночевали в сугробах. Этим людей посылали на самые опасные и



смелые предприятия, с тем чтобы присвоить их трудные подвиги и славу.

Главный правитель — высокий, строгий человек с правильным лицом и начинавшими сесть волосами. Он сидел в огромной комнате своего дома на Кекуре, рылся в бумагах, принимал и выслушивал людей. Толмач Калистрат стоял у дверей кабинета и докладывал правителю о пришедших. Правитель каждый раз приказывал подождать и не торопясь доставал из ящика стола длинный список, в котором значились все обитатели Ново-Архангельска с краткими сведениями о них. Только поглядев в список, правитель приглашал посетителя в свой кабинет...

Загоскин долго не мог понять, почему его не зовут на Кекур. Там, в кабинете правителя, он расскажет о богатствах новой страны, о своих исследованиях и к тому же узнает цель приезда Ке-ли-лын в крепость. Но приходилось ждать.

Чтобы убить время, Загоскин засел за составление карты Квихпака, на которую он хотел нанести места, где были найдены кости ископаемых животных. Однажды от этого занятия его оторвала Таисья Ивановна. Она была чем-то страшно разгневана.

— Ты только погляди, Лаврентий Алексеевич! — кричала стряпка еще с порога комнаты. — Погляди, что твой индианин натворил! Язычник проклятый! Вот как люди могут притворяться! Святой Микола с языка у него не

сходит, а сам языческого идола своими руками соорудил. Я думаю, чего он все в сарай ходит, где дрова лежат? А там у меня бревно лиственничное для всякого случая береглось. Вы сами поглядите, что он с бревном сделал! То-то он к корабельщикам ходил, краски просил, причину какую-то придумывал, а мне невдомек было. Иди, иди — погляди сам...

Из дверей сарая тянуло табачным дымом так, как будто там находилось по крайней мере пять курильщиков. Индеец Кузьма с малярной кистью в руках склонился над резным столбом с изображениями лягушки, кита, орла и ворона. Столб был уже почти весь раскрашен: Кузьме оставалось лишь положить краску на огромные зрачки ворона, венчавшего собой столб. Индеец, видимо, думал, как лучше это сделать, и, прищурясь, смотрел на создание своих рук, выпуская табачный дым из ноздрей. Рядом с ним лежали несложные орудия его мастерства — небольшой, но острый алеутский топорик и охотничий нож.

И Загоскин мгновенно вспомнил день юконской зимы: снег, розовевшую на солнце сосульку на кровле хижины и точно такой же столб, у которого он стоял, согревая руки своим дыханием.

Кузьма провел алой кистью по глазам Великого Ворона и довольно улыбнулся.

— Зачем русская женщина меня ругает? — спросил Кузьма. — Это я сделал в пода-

рок тебе, Белый Горноста́й, в память наших скитаний по Квихпаку.

— Как же! Очень им твой идол нужен! — вскричала Таисья Ивановна. Она стояла в дверях сарая, скрестив руки на груди. — Вот погоди, только осень настанет, я его в печи спалю! Бревно мне только испортил!

— Он тебе другое в лесу срубит, не надо ссориться, — примиряюще сказал Загоскин. — А столб я себе возьму, раз мне Кузьма его дарит.

— Да куда он тебе? — всплеснула руками женщина. — Идол — он и есть идол. Он к язычнику подходит, а не к русскому человеку. Один мне грех с вами, право, один грех! Где же, однако, он мастерству такому выучился? Не всякий может такое соорудить..

Загоскин тоже удивленно смотрел на работу Кузьмы. Индеец объяснил:

— Когда я был молодым, я учился резать дерево у одного старика. Хороший резчик может быть у нас богатым человеком, ему даже дарят рабов. Но за ученье старику нужно было платить припасами или мехами, а мой отец, Бобровая Лапа, добывал их мало... Но кое-чему я успел научиться... Теперь надо только, чтобы краска хорошо просохла...





ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В это время на крыльце дома показался сержант Левонтий. Он принес известие, что главный правитель зовет Загоскина к себе на Кекур со всеми бумагами, отчетами и дневниками. Сержант жалобно смотрел на Загоскина, и тот подумал, что речь пойдет о новой полтине. Но сержант беспокоился о другом.

— Я надеюсь на вас, господин Загоскин, что вы их высокоблагородию не скажете на меня ничего, особенно про то, что я вам на плацу говорил...

— Можешь быть спокоен... Ну как, пропустил в тот раз рому хоть немного?

Сержант застенчиво улыбнулся и ничего не сказал. Ответ можно было прочесть на его лице: довольство было разлито в морщинах около глаз.

— Ну, давай вам бог удачи, — сказал Левон-

тий. — Калистрат сказывал, их высокоблагородие ужасно чем-то расстроены и неприветливы сегодня.

— Волков бояться — в лес не ходить, — ответил Загоскин.

Он сложил в три большие папки бумаги похода, оставив все черновики в ящике стола. В нагрудный карман положил мешочек с юконским золотом, а осколок метеорита велел нести Кузьме вместе с двумя папками.

В доме правителя их встретил толмач Калистрат, человек с черной бородой и наглыми, навывкате глазами.

— Куда прешь? — заорал он на Кузьму. — Обожди на плацу! Тебя господин правитель не звали. Зачем вы его привели? — грубо спросил толмач Загоскина. — Камень с собой еще притащил! Иди вместе с ним отсюда.

— Индеец пришел со мной, вместе со мной и уйдет, — твердо сказал Загоскин. — А об этом камне не тебе судить. Кузьма, жди меня здесь. Кстати, дай мне камень и мои бумаги.

Вслед за этим он постучал в дверь кабинета правителя.

— Войдите! — раздалось из глубины комнаты, и Загоскин подумал, почему он раньше никогда не вслушивался в голос правителя: на вид мужественный человек этот обладал почти женским голосом, высоким иногда до крика.

Говорил он, как истый остзеец, слишком стараясь правильно произносить слова русской речи.

Главный правитель сидел за огромным письменным столом. Прямо над ним висел царский портрет, налево от него — изображение Александра Баранова. Просторная комната была, видимо, сырой, и ее старались просушить за лето: в камине пламенели угли. Правитель, повернув голову к камину, смотрел на игру углей. Загоскин остановился на пороге, потом шагнул к столу. Правитель даже не пошевелился.

— Людвиг Карлович, здравствуйте! Вот я и пришел. Вы хотели знать об экспедиции на Квихпак? Все, все на редкость удачно, без преувеличения. Начну с того, что на Квихпаке есть золото...

Правитель наконец повернул лицо, и Загоскин увидел холодные, безразличные глаза.

— Бывший лейтенант, ныне матрос второй статьи Загоскин, потрудись именовать меня или титулом, или присвоенным мне званием, — сказал правитель и, слегка нагнув сидящую голову, искоса взглянул на свой орденский крест.

Загоскина бросило в жар от этих беспощадных слов.

Правитель так именно и сказал: «потрудись». Он, видимо, вовсе не хотел обидеть его

или унижить. Нет! Он сказал это спокойно, как говорит человек, убежденный в том, что иначе поступить и сказать нельзя. И Загоскин понял, что ему не сломить этой холодной убежденности.

— Виноват, ваше высокоблагородие, господин капитан-лейтенант, — сказал он с горькой улыбкой. — Я прекрасно помню о том, что я — матрос второй статьи. Но, кроме этого, я еще и человек, рисковавший не раз жизнью для пользы Русской Америки и Компании. Мне хотелось, чтобы мои скромные труды не пропали даром.

— Компания позаботится об этом, если труды имеют практическую ценность... Какое золото может быть на Квихпаке? Нужны доказательства. Кроме того, Компания не занимается добычей рудных богатств и в «Положении» о ней насчет золота ничего не сказано.

— Господин капитан-лейтенант! Бродяги, беглые преступники безнаказанно проникают на нашу территорию. Креол Савватий Устюжанин убит, убит именно за свою преданность России и Компании.

— Об убийстве креола и о самосуде над европейцем мы еще поговорим. Дальше.

— Доказательства? Вот они! — Загоскин вынул мешочек с золотом.

При виде золотых зерен правитель на мгновение поднял брови. Но вскоре его лицо приняло вновь безразличное выражение. С таким

же кажущимся бесстрашием он разглядывал чертеж.

— Хорошо... Известно ли это матросу Загоскину?

Капитан-лейтенант вдруг решил в разговоре избегать обращений, считая, что местоимение «ты» теперь употреблять уже не следует, иначе сила впечатления от него ослабится. Он подал Загоскину номер газеты «Земной шар» с заметкой, обведенной черной каймой. Она извещала о том, что некий Генри Робертсон, агент Меховой компании, хороший знаток Севера, погиб в снежных пустынях, исполняя свой долг.

— При какой температуре плавится золото? — вдруг спросил главный правитель, кладя ладонь на замшевый мешочек. Загоскин ответил, что не знает.

— Хотя все равно, — задумчиво сказал правитель, кликнул Калистрата и велел ему принести охапку дров.

Когда толмач, громыхая сапожищами, ринулся исполнять приказание, правитель безмолвно поглядел на собеседника.

Загоскин сложил газету.

— Меховая компания молчать не будет. Кто-то ответит за это убийство, но, надеюсь, не я, — сказал правитель.

Затем он подошел к камину и нетерпеливо поглядел на дверь. Теперь он не скрывал своего волнения. Когда Калистрат положил в камин принесенные им кипарисовые поленья, прави-

тель сделал знак толмачу, чтобы тот вышел.

Правитель высыпал на ладонь золото. Сжав зубы, Загоскин следил за этими приготовлениями. Вот капитан-лейтенант поднес руку к камину и начал рассеивать золотые зерна по алым углям. Загоскину хотелось подбежать, схватить правителя за локоть, остановить эту холодную и безжалостную руку. Но правитель уже взял каминные щипцы и стал старательно размешивать угли. Потом он взял чертеж, сильно рванул его, сложил разодранные части и разорвал их снова. Так он сделал несколько раз и бросил обрывки в камин. Затем он приказал толмачу подложить дров. Золото и клочья бумаги потонули в жарких углях, огне и душистом кипарисовом дыму.

— Честь России и Компании погибла в этом огне, — глухо сказал Загоскин.

— Да? — насмешливо спросил главный правитель, выпрямляясь у камина и закладывая руки за спину. — Бывший лейтенант Загоскин страдает преувеличениями и любовью к громким словам. Понятно, сочувствие Завалишину и прочим господам даром не проходит. Можно сесть, — добавил он тоном приказания и опять избегая обращения.

Загоскин сел напротив главного правителя, положив на стол бумаги и обломок метеорита. Он вдруг заметил глыбу какого-то металла, лежащую рядом с письменным прибором.

— Кстати, вам известно, что это та-

кое? — спросил правитель, внезапно переходя на «вы». Он подвинул тяжелую глыбу ближе к Загоскину, как бы приглашая его лучше рассмотреть эту вещь.

— По-моему, железо, только очень плохого качества, — ответил тот, недоумевая, чем вызвана перемена в обращении.

— Но кем оно добыто, если оно привезено в Охотск с Петровского завода? Правильно, железо плохое, ломкое. Мы пробовали делать из него якоря, но ничего из этого не получилось. Оно добыто руками ваших... и до известной степени... моих приятелей. Бестужев, Завалишин, Торсон, Штейнгель... Имен немало, можно назвать еще. Государственные преступники, а в прошлом — люди, близкие Компании. Некоторые из них бывали в этом доме. Я не хотел бы этого забывать. Не забыли, надеюсь, и вы, Загоскин? Вы очень дешево отделались за сочувствие этим лицам. Разжалование в матросы? Пустяк по сравнению с участью людей, добывших это железо. Будем откровенны. Вас облагодетельствовала Компания, она доверила вам исследования Квихпака. Но что делаете вы? Вы чуть ли не участвуете в убийстве агента Меховой компании, и именно тогда, когда в Ситхе гостит Симпсон, директор Компании Гудзонова залива. Что должен делать я — российско-американский губернатор, облеченный очень широкими правами? Принести в жертву вас, милейший Загоскин, дабы ни на мне, ни на Компании

не было никакого пятна. Отдать под суд я вас не могу — не хочу огласки. Третьего отделения на Аляске, к сожалению, нет, и поэтому невозможно принять мудрых административных мер. Чего я жду от вас? На всякий случай вы дадите мне лично письменные показания об обстоятельствах убийства этого бродяги. Ведь поймите — наши индейцы убили чужого белого человека! На земле Компании... Нужен оправдательный документ. Если понадобится, он будет фигурировать там, где нужно. Но ни я, ни Компания не должны там упоминаться...

Загоскин молчал, опустив голову. Дрова в камине трещали, запах кипарисовой смолы разносился по комнате.

— Я даю вам слово офицера, — говорил размеренно правитель, — в том, что я не обращаю против вас этого документа, если в этом не будет особой нужды. Если дело заглохнет, вас никто не потревожит. И многое зависит от вас, от ваших способностей, ведь вы — сочинитель! Делайте виновником убийства кого хотите. Кстати, нельзя ли сделать таковым креола Саватия? Ведь он убит. Нельзя ли изобразить обоюдную драку между англичанином и креолом? Хотя нет — труп не сохранился. Пишите как хотите, лишь бы здесь не пахло никакой политикой.

Сотни мыслей — тревожных и гневных — проносилось в мозгу Загоскина. Этот спокой-

ный и сдержанный человек предлагает ему выдать Ке-ли-лын, Кузьму и оклеветать память покойного креола. Этого не будет никогда! Знает ли главный правитель действительно подробно обо всех обстоятельствах убийства? От этого будет зависеть многое.

— Могу ли я задать вопрос господину капитан-лейтенанту?

— Извольте.

— Имеются ли у вас совершенно точные сведения о том, кто убил этого иностранца?

— Разумеется... Убийцы сами были здесь. Читайте! Особых секретов здесь нет, раз вы посвящены в это дело и знаете его лучше, чем я. Конечно, вы будете держать язык за зубами.

Правитель протянул Загоскину «Дело». На нем была четкая надпись: «О ночном набеге квихпакских дикарей во главе с индейской девкой Ке-ли-лын на Ново-Архангельскую крепость...» Правитель следил за выражением лица Загоскина.

— Знакомое имя, а? — спросил он вдруг с любезнейшей улыбкой. Эта улыбка лишь на мгновение скользнула по его лицу. Оно стало опять бесстрастным и замкнутым.

Стараясь быть спокойным, Загоскин прочел все дело — от начала до конца. Написанные канцелярским языком бумаги повествовали о том, как благодаря принятым своевременно

разумным начальственным мерам был предотвращен набег дальних индейцев на резиденцию господина правителя Российско-Американских колоний.

Взятая у крепостных ворот индейская девка Ке-ли-лын, именующая себя тойоном селения Бобровый Дом, при расспросе показала, что она пришла в Ново-Архангельск якобы с единственной целью: просить покровительства России. С целью прикрытия преступных замыслов девка Ке-ли-лын просила господина главного правителя о расправе над якобы нерадивым бывшим тойоном селения Бобровый Дом. Тойон этот был представлен господину главному правителю связанным. Вслед за тем Ке-ли-лын сделала признания в том, что она вместе с подчиненными ей индейцами, руководимая чувством недостойной мести, умертвила европейца, принадлежащего к дружественной России нации, и с целью сокрытия следов преступления опустила труп в прорубь на льду реки Квихпак. На все сделанные ей кроткие увещевания индейская девка Ке-ли-лын отвечала дерзостным молчанием.

Присутствовавший при беседе господина главного правителя с индейцами священник отец Яков неоднократно пытался внушить индейской девке Ке-ли-лын мысль о необходимости принятия обряда святого крещения как лучшего средства доказательства искренности своих симпатий к России. Но девка Ке-ли-лын

не только презрела кроткую проповедь христианского пастыря, но и проявила крайнюю закоснелость в своих варварских понятиях, решительно отвергая даже одну мысль о святом крещении.

Девка Ке-ли-лын осмелилась вступить в спор со священнослужителем, в адской гордыне предавая насмешке таинства святой церкви. Вслед за этим индейская девка позволила себе вмешаться в дела управления Российско-Американскими колониями. Так, например, она дерзостно утверждала, что посланный Российско-Американской компанией и управлением колоний не имеющий чина бывший лейтенант Лаврентий Загоскин, известный ей под языческим прозвищем Белый Горноста́й, якобы претерпевает бедствия на реке Квих-пак, оставленный Компанией на произвол судьбы.

Из дальнейших речей индейской девки господин главный правитель усмотрел повод к оставлению бывшего лейтенанта Загоскина в сильном подозрении в подстрекательстве индейцев к убийству гражданина известной державы. Девке Ке-ли-лын было отказано в принятии от нее бывшего тойона селения Бобровый Дом и заключении его под стражу, так как управление Русской Америки не вмешивается в дела управления материковых туземных племен, считающихся независимыми. Дерзостный образ поведения Ке-ли-лын поставлен ей на вид. По-

сколько во всем этом деле наблюдались некоторые моменты, имеющие особое значение, господин главный правитель вынужден был действовать в духе известной ему секретной инструкции. Поэтому он считал неудобным подвергнуть дикарей задержанию, чтобы не вызвать вредных для Российско-Американской компании пересудов и толков. Кроме того, по этому вопросу у господина главного правителя существует ряд соображений, которые он готов в совершенно секретном порядке доложить высшему начальству.

Дело о неудавшемся набеге дикарей на крепость Ново-Архангельскую поставлено хранить в тайне. Главный правитель счел необходимым наградить присяжного толмача Калистрата и крепостной артиллерии сержанта Левонтия Черногозера, проявивших доблесть и отвагу при разоружении дикарей и тем заслуживших отличие в виде оловянных медалей «Союзная Россия», установленных для ношения чинами низшей администрации и туземными тойонами в Российско-Американских колониях.

— Ну как, прочувствовали, Лаврентий Алексеевич? — спросил правитель глубоким и нежным голосом, видя, что Загоскин дочитал последнюю страницу дела. — Не прикажете ли чаю? Эй, Калистрат, накрой чайный стол в углу. Вы можете считать меня циником, кем угодно, но надо что-то придумать. Я человек прямой.

Может быть, вам желательна награда? Но предупреждаю: выше серебряной медали вам не получить. Грехи не пустят... Я с вами откровенен, как старый флотский товарищ. Из-за всей этой истории с бродягой я могу потерять чин и даже награду. — Правитель прикоснулся двумя пальцами к орденскому кресту.

Загоскин с торжеством подумал, что перед ним сидит уже не всесильный и грозный начальник, а жалкий человек, боящийся лишь за свое благополучие.

— Благодарим покорно за чай, — сказал Загоскин, подражая матросскому говору и ощущая в себе чувство сознания своей силы.

— Ну, хотите, я продвину все ваши научные труды? У нас, — правитель подчеркнул слова «у нас», — имеются к этому достаточно могучие средства. От вас требуется только одно: скромность и еще раз скромность. Согласитесь на то, что никому не известный служащий нашей Компании, так сказать, самородок впервые выступает в печати с полезными для империи мнениями. Понятно ли это вам? «Морской вестник» и любые официальные издания — к вашим услугам. Надеюсь, что ваши либеральные убеждения не помешают вам выступить хотя бы и в «Журнале министерства внутренних дел»? В этом нет ничего зазорного. А иначе вам не выбиться. Одного таланта еще недостаточно. Вы человек способный... Будет очень обидно,

если ваш талант пропадет без пользы. Подумайте как следует. Вы еще молоды.

— Прошу прощения, господин капитан-лейтенант! Насколько я вас понял, вы убеждены в том, что таланты в России процветают лишь при помощи Третьего отделения? Или вообще только с разрешения начальства?

— Зачем нам касаться подобных сюжетов? — огорченно воскликнул правитель. — Лаврентий Алексеевич, перейдемте с вами хотя бы к научным темам. Правда, я не дока в них, но у меня есть сведущие люди. Калистрат! Позвать сюда господина Рахижана из чертежной...

Скоро в дверь кабинета главного правителя просунулась круглая напояженная голова.

— Дозвольте войти? — раздался сладкий, вкрадчивый голос.

Загоскин невольно отвернулся от вошедшего. Это был низенький, оплывший человек с венцом редющих кудрей. Воротник его флотского мундира был обильно покрыт перхотью.

— Здравия желаю, господа! — сказал Рахижан и покосился на Загоскина.

Загоскин давно знал этого человека. Начальник чертежной Рахижан был известен под кличкой Бадахшанский Князь. Пользуясь своей азиатской наружностью, он выдавал себя за потомка восточного владельца, хотя был всего-навсего купеческим сыном из-под Епифани.

— Все материалы, собранные господином Загоскиным, — сказал главный правитель, — по праву являются собственностью Российско-Американской компании. Господин Рахижан, я предлагаю вам принять бумаги экспедиции на Квихпак, составив подробную опись. Вас, Загоскин, я попрошу дать мне подписку в том, что эти материалы не будут опубликованы без особого разрешения правления Российско-Американской компании... Где текст подписки?

Рахижан с преданной улыбкой извлек из кармана засаленного мундира полулист голубоватой бумаги, покрытой затейливо выписанными строчками.

— Извольте подписать! — сказал ласково Рахижан, подавая гусиное перо Загоскину. — Обождите-с, волосок пристал, — добавил он, оглядывая острие пера на свет. Он высунул язык, проворно провел пером по кончику языка и снова оглядел перо. — Только, пожалуйста, разборчивей. Документ большой важности, сами извольте понимать. Так-с, премного вам благодарен. Прикажете идти? — обратился он к правителю.

— Идите! На сегодня у меня к вам больше вопросов нет.

Бадахшанский Князь направился к двери.

— Подумайте, Загоскин, как следует обо всем. Вы видите, что я откровенен с вами. Вы должны быть уступчивее. Неужели вам хочется

портить карьеру? Она и без того у вас испорчена.

— Господин капитан-лейтенант, справедливость требует, чтобы я ходатайствовал перед вами о награждении индейца Кузьмы, моего спутника. Он спас мне жизнь, проявил исключительное мужество. Кроме того, его отличное знание местности и природные его способности значительно помогли мне. Скажу больше — снятие плана Квихпака без участия индейца было бы просто невозможно. Его следует наградить. Затем я хотел бы обратить внимание ваше на ценные для науки находки ископаемых костей. Находки сложены в условных местах, и их следовало бы собрать и доставить сюда.

— Какие там кости! — махнул рукою правитель. — Кто с ними будет возиться? А относительно индейца... Вы умаляете силы русской науки и свои собственные способности! Неужели вы не могли обойтись без индейца! В интересах дела вовсе нет смысла выпячивать роль какого-то дикаря, пусть он даже и обнаружил некоторые дарования и был полезен. Он из аманатов?

— Да.

— Ну, я решу этот вопрос. Может быть, мы ему несколько увеличим довольствие, освободим на время от общих работ. Кстати, где он находится сейчас?

— Живет у меня.

— У вас? Это нехорошо. Такое панибратство нежелательно. Его место в алеутской казарме.— Правитель что-то записал на листе бумаги.— Пусть Калистрат сегодня же найдет другое место для индейца. Что за камень вы принесли?

— Это осколок метеорита. Они довольно редки на Аляске. Насколько я помню, в последний раз падение метеорита наблюдал Иван Кусков 17 июня 1802 года близ устья Ледяного пролива... Координаты места падения и другие данные об этой моей находке приводятся у меня в особой записке... Она в числе сданных бумаг.

Правитель взял в руки небесный камень, равнодушно оглядел и поставил на край стола.

— Разговор наш затянулся,— сказал он и поглядел на хронометр.— Думайте, Загоскин. Я забочусь о вас. Вам представляется случай поправить карьеру. Решайте.

Капитан-лейтенант поднялся с места. Загоскин взял обломок метеорита и пошел к выходу.

— Что же вы молчите? — спросил правитель, удивленно смотря вслед Загоскину.

Но тот уже вышел из дверей.

Оставшись один, капитан-лейтенант, пожав плечами, вынул из петлицы орденский знак, положил его на стол и погрузился в созерцание горностаевого поля на кресте. Угли в камине покрылись легкой серой пеленой. Правитель чувствовал себя утомленным от дневных забот.

Вечером у него предполагалось еще совещание с преосвященным и отцом Яковом по поводу обновления утвари в ново-архангельской церкви.

— Калистрат! — усталым голосом сказал капитан-лейтенант. — Сходи к господину Рахижану в чертежную и пригласи их к бильярду.

Вдев крест в петлицу, глава Русской Америки пошел в бильярдную на партию-другую алагэра — любимой его игры в два шара.

Загоскин в это время медленно сходил с высокого крыльца. Индеец Кузьма шел за ним, допытываясь, чем его друг так расстроен. Над их головами раздавался стук костяных шаров — окна бильярдной помещались как раз над входом в дом; из них были видны высокая лестница, плац и ворота Верхней крепости.

Знакомая черная завеса поплыла перед глазами Загоскина — такая же, как и тогда, когда он стоял навытяжку на шканцах «Аракса» и чужой молчаливый человек срывал с его плеч эполеты. Спускаясь с крыльца, Загоскин вдруг ощутил страх перед тем, что он пропустит ступень, поскользнется, свихнет ногу или не дойдет до конца лестницы. Но это чувство было минутным.

Ему показалось, что на него кто-то смотрит из окна бильярдной. Загоскин выпрямился, откинул голову и постарался идти ровно и твердо. Черная завеса исчезла. Загоскин увидел

залитый солнцем плац, сверкающие медные пушки и воронов, кружащихся над батареей. Обломок метеорита, который он нес в руке, вдруг показался ему тяжелым и ненужным. Он разжал пальцы, и камень с громким стуком упал на деревянную ступень. Как бы в ответ на этот стук в окне бильярдной показалась напояженная голова Рахижана. Он взглянул вниз и снова быстро скрылся в глубине бильярдной.

— Не надо, Кузьма! — сказал Загоскин, когда индеец нагнулся, чтобы поднять небесный камень.





ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Добрый лекарь Флит стоял посредине больницы приемной, а Таисья Ивановна сидела на некрашеной лавке, поминутно вытирая платком набегающие слезы.

— Чего ревешь-то зря? — укоризненно спрашивал лекарь. — Сейчас увидишь его, как только больные пообедают. Не номер твой Загоскин, от этого не помирают!

— Что с ними приключилось? Скажите, господин лекарь.

— Нервическая горячка у него — один из видов Фебрис, — важно пояснил лекарь Флит. — Горячки разные бывают — простудные, желудочные, воспалительные, гнилые или тифусы, а также и чумные. Горячка нервическая происходит от страстей, сильно волнующих дух и сердце, от гордости и разбитых надежд. Бред, боли меж ребер, общая слабость и крайнее изне-

можение, бессонница — суть признаки горячки нервической. Малые порции красного вина, мушки, пущание крови — средства ее излечения. Все это мною и применено... А чем реветь; лучше выслушай меня. Когда ты заберешь его домой, то поступай с ним так. Удаляй все, что может поколебать спокойствие духа и тела больного и возбудить в нем какую-либо страсть, имей над ним должный присмотр и попечение. Сделай отвар из кислых ягод... Еда — овсяная каша, а как окрепнет, можешь давать, что и раньше ел. Вот и все... Отлежится, встанет на ноги, и все пройдет без следа. Расскажи, как болезнь у него началась?

— Пришли они с Кекура от их высокоблагородия задумчивые, сели у меня на кухне за стол и вдруг заплакали, как дите. Я вся, скажу прямо, потерялася и сразу не знала, за что и взяться. Плакали очень долго, утешений никаких не принимали и вскорости ушли к себе и заперлись. И мне долго не желали открывать, не ели, не пили и начали бредить. В бреду говорили разное — все больше насчет какой-то индианки, потом Кузьму звали, а раз сказали совсем явственно: «Эх, судьба — ворон!» Когда бредили, хотели ружье со стенки снять, но я приказала ихнему индианину Кузьме ружья и пистолеты все попрятать. Вот так они и заболели, рассказываю все по чистой правде. Ваше благородие, господин лекарь, значит, взаправду ничего тяжелого нет?

— Нет, я уже говорил. Идем, я тебе его покажу.

Лекарь набил табаком ноздри своего длинного носа, обождал несколько мгновений, с чувством чихнул и только после этого взялся за дверную ручку.

На койке в углу палаты лежал Загоскин. Худой, с ввалившимися щеками, в полотняном колпаке, он, однако, не был похож на тяжелобольного. Сначала он не заметил присутствия Тайсы Ивановны: он видел лишь лекаря Флита, согбенного и похожего на носатого ворона.

— Господин лекарь! — крикнул Загоскин старику. — Дайте мне бумагу и карандаш. Я хочу писать, не могу лежать без дела. Ведь я совсем здоров, черт возьми! Ну, правда, прорвало: был временный упадок — не железный же я! А сейчас у меня много мыслей, я хочу работать. Поглядите на меня; гипохондриков таких не бывает. Дайте мне бумаги, ну хоть немного.

— В том-то и дело, батенька, что вы — железный. Другой бы на вашем месте не вынес таких скитаний и лишений и отправился бы адпатрес¹. Ну, герой Квихпака, как вы ели свою кашу? Насчет бумаги я подумаю. Вы не гипохондрик, вы — мономан². Но ваш вид монома-

¹ К праотцам (лат.).

² Мономан — буквально: однодум, одержимый одной идеей.

нии — из тех недугов души, которые двигают мирами. Пожалуй, я дам вам карандаш. К вам пришла дама. Разговаривайте, но вещей, волнующих дух и сердце, не касайтесь...

— А и вправду человек оживать стал, — сказала Таисья Ивановна. — Вспомните, Лаврентий Алексеич, какие вы были. Ну да где вам это знать... Насилу мы с Кузьмой вас сюда уволокли: все не шли, упирались...

— Да, прежде всего, что Кузьма делает?

— Бог его знает, давно не бывал.

— Где же он? На охоте?

— Да нет... — Женщина опустила голову и затеребила край платка. — Расстраивать я вас не хочу, а, однако, придется сказать. Только вы в больницу легли — прибегает антихрист этот, толмач Калистратка. Как зверь на меня зарычал: где мол, загоскинский индианин? Не положено ему тут быть. Как тигра какая, рыскал всюду, нашел Кузьму на огородах — он там овощ мой поливал. Ну и согнал беднягу со двора, а куда — точно не знаю: то ли к алеутам в бараборы ихние, то ли в колошенские шалаши за палисад... Ох, боюсь, как бы Кузьму родичи его там обратно не сбили, чтобы он вновь палку в губу не продернул. А я уже поплакала, как он ушел от нас. Праведный индианин, на редкость высокой души. Подумать только, какие среди дикарей бывают люди! Я, грешница, напраслину на него взводила. Он, стало быть, господин лекарь, идола из дерева строил — Лаврентию

Алексейчу в подарок, для науки, как они объяснили. А я спервоначалу подумала, что Кузьма к идолопоклонству обратно ворочается. Ну, конечно, напустилась на него. Ведь такие случаи бывают; тойон Ионка, помню, пять раз в язычество уклонялся, даром что одно время служкой в церкви был.

— Идола-то не сожгла без меня? — спросил, улыбаясь, Загоскин. Весть об изгнании Кузьмы он встретил более или менее спокойно, так как был к этому подготовлен еще на Кекуре.

— Помилуй бог, зачем же жечь? Дров и так мне служилые навозили — на всю зиму хватит. Раз идол научный, я его не трогаю. Краска на нем давно просохла. У меня парусной холстины старой кусок был, я в него идола завернула, зашила кругом суровыми нитками и на чердак поставила.

— Вот спасибо тебе за это, Таисья Ивановна!

— Чуть было не запомятовала! Чистый Иуда по всем выходкам Калистратка этот. Когда приходил сгонять Кузьму — нахально хотел к тебе в комнату лезть. Хорошо, что замкнута она была. «Нет ли, — говорит, — у твоего Загоскина там бумаг каких?» — «Как же, — говорю, — для тебя припасены. Иди, мол, иди, пока не проводила чем ворота запирают». Он на меня вызверился, говорит, что теперь они с сержантом Левонтием кавалеры оба и с ними надо обходительнее разговаривать. Ведь обещал мне,

змей, сам раньше прошение господину Нахиму составить, а теперь отстраняется. «Раз тебе,— говорит,— Компания денег не дает, то я против ее не пойду, я ею согрет и отмечен». Гвоздиком пробовал замок ваш ковырять, а я — не будь дура — навесила теперь второй замок, с секретом. Мужик-то мой покойный секретные запоры мог делать. Вот он каков, этот Калистратка! Я уж теперь днем от него замыкаться стала. Ну, а так больше новостей особых нет. На картах опять недавно мне интерес выпал, и снова из казенного дома.

— Ты все такая же,— улыбнулся Загошкин,— погоди, дождешься когда-нибудь интереса наяву.

— А чего мне меняться? Какая есть. На-ка, возьми, я тебе гостинчик принесла.— Женщина вынула из узелка две румяные шаньги.

Лекарь разрешил больному принять их.





ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Дня через два Загоскин вернулся домой. Как-то утром он проснулся, взглянул в окно, подернутое тонкими струями дождя, и увидел чью-то темную фигуру, прижавшуюся к стене. Он с удивлением узнал сержанта Левонтия.

— Что ты тут делаешь? — спросил Загоскин, распахнув окно. — Иди в дом.

— Не имею права, — ответил сержант. — По присяге нельзя.

— Ты... того. Где так рано пропустить успел?

— Какое пропустил... А не худо было бы. Ревматизма замучила, в костях сырость. А иначе нельзя: приходится сидеть. И батарею на одного инвалида оставил. Не знаю, догадается ли он орудия чехлами закрыть. Эка погода! Эчком-горы не видать, кругом все заволокло. Жизнь!

— Ты мне толком скажи, зачем здесь торчишь?

— Так что вы находитесь под домашним арестом, а я к вам приставлен, — со вкусом сказал сержант, подняв нос, — значит, до смены караулить. На меня, как на надежного кавалера, начальство полагается.

— Ну и мокни, кавалер! Вот еще нелегкая! — выругался Загоскин, лег снова в постель и проспал до полудня.

Проснулся он от громкого разговора под окном. Дождь прошел. Солнце прорывалось сквозь легкие серые облака, играя на стеклах окна. Загоскин прислушался. Громко говорила Таисья Ивановна, сержант Левонтий тихо отвечал ей, в чем-то оправдываясь. Лишь временами, как бы боясь, что его не поймут, он тоже возвышал голос.

— Иуда ты, Иуда! — кричала женщина. — И хуже даже Иуды. Продешевил малость. Тот хоть тридцать сребреников получил, а ты одну медальку, да и то оловянную! Ты на себя погляди, на свою богомерзкую рожу. Незадаром тебя жена бьет; тебя убить, Иуду, мало! Как у тебя только совести хватило? Ослепнешь ты когда-нибудь, как ослепла стража у гроба господня.

— Служба, присяга, — бормотал сержант, взволнованный сравнением, заключенным в последних словах стряпки. — Глупая ты баба — не поймешь: раз начальство прикажет, то и

брата родного будешь караулить. Мне господин Загоскин ничего не сделали, кроме хорошего. На плацу недавно две полтины дали. А мне что — сладко на сырости сидеть? Хорошо, что хоть дождь перебило малость... Службу понимать надо, Таисья Ивановна...

— Как был ты Левонтий-бормотун, так им и останешься! А если тебе начальство убить кого прикажет?

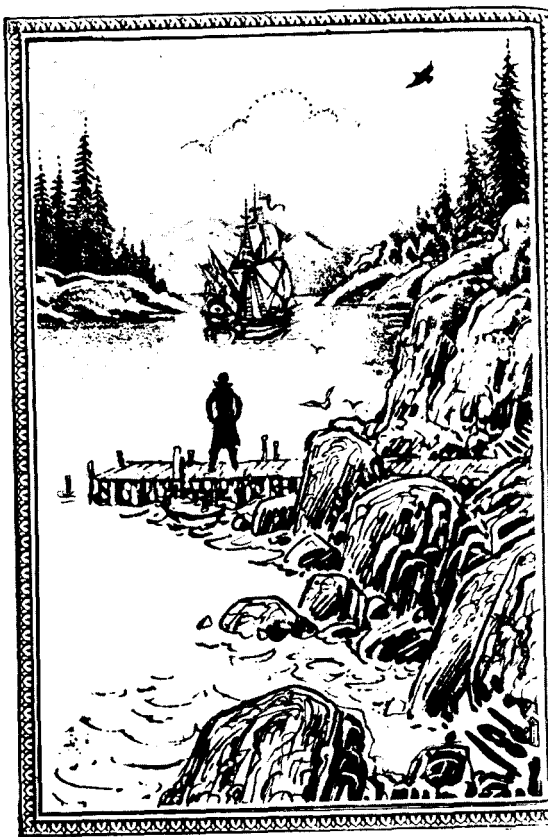
— Это смотря кого и когда. Ежели при военном каком деле...

— Да ты и сейчас убивец. Человек больной, лишившись чувств, лежит который день, а ты у него над душой сидишь. А что мне лекарь сказал? Чтобы никакого расстройства не допускать... А ты им все чувства разобьешь.

— Эх, пропустить малость. Пальцы мозжат. У тебя, Таисья Ивановна, ничего нет согреться? Да перестань ты, богом молю!

— В аду тебя черти согреют. Не перестану!

— Да разве это караул? — с чувством спросил сержант, возвысив голос. — Это не караул, а забава детская. Вот когда был я при Петровско-заводских казаматах — там действительно караул. Шестьдесят четыре номера, на каждом номере решетки железные, вход ночью на четыре замка запираешь. В кордегардии насупротив казamatов бойницы понаделаны, чуть что непорядок — и стрельба фрунтом беглым огнем. Строгость! Идешь в караул, и ежели у тебя не токмо что оружия, а амуниция не в



акурате, то тебя господин плац-майор беспрерывно бьют по морде. Я там еще нижним чином был, девять зубов оставил и сержанта получил. Вот это, я скажу, караул.

— А в казаматах-то кто сидел? Воры или убийцы?

— Не воры, а государственные преступники, все больше из господ — офицеры, и флотские, и иные. Много, говорю, шестьдесят четыре нумера. Всех теперь и не упомяну. Ну, господин Завалишин, Кухенбекен, Торсон, Пушин Иван Иванович, Бестужевы господа... Всех я их отлично знал, и они меня небось помнят.

— Ох, боже ты мой! — вскричала Таисья Ивановна. — Завалишин, говоришь? Они из себя какие — росточка малого?

— Да, невысокие...

— Из моряков?

— Флотские.

— А звать не Дмитрий Иринархович?

— Именно. Да ты нешто их знала?

— Как не знать, бог ты мой! Завалишин с господином Нахимовым в Ново-Архангельск на фрегате приходили, у меня бывали. Я им мундир починаяла еще. А были в тот год, когда индиане на огороды нападение сделали, и пресвященный тогда же в Ситху прибыл. А зимовать господин Завалишин ходили в Сан-Франциску. Помню я, как они мне из форта Росс виноградную ягоду привезли; там наши русские

попервости виноград сняли, — умилилась Таисья Ивановна. — Ягоды отдали мне, помню, и говорят: «Утешайся, Таисья, от своей горькой жизни». Уважительные очень люди были... А Кухенбекен? Росту высокого, лысоватый? Тоже знала, со шлюпа «Аполлона» лейтенант... А где же они теперь?

— Известно где — на поселении. Кандалы с них сняли и разослали в города и деревни — жить трудами рук своих.

— Ирод ты, Левонтий! — сквозь слезы выговорила женщина. — Даром что ты безответный такой, а грех большой на душу принял. Таких людей караулил! Да как тебе не совестно было, как у тебя душа не сгорела, глаза твои не лопнули! То-то они у тебя повыцвели — поди стыдно на божий свет глядеть. А я про Завалишина дознаться ничего не могла, три года ему отсюда писала про свое дело, чтобы в Питере отхлопотал. Как пойду на кругосветный корабль с письмом, так мне и говорят: «Нет такого в столичном городе Петербурге». А потом и вовсе гнать стали. И что это такое? Как человек справедливый и с понятием — так его в каземат!

— Ты смотри, баба, с такими речами! — захорохорился сержант. — Знаешь, что я по присяге должен сделать? Про такие твои слова сказать Калистрату, а он доложит их высокоблагородию, а господин главный правитель отпишет министру, а министр — царю. А государь

император прикажет сенаторам сыскать в Америке ремесленную вдову Таисью Головлеву да в Сибирь ее, в Сибирь! Там тебя спрашивать не будут, где ты жить хочешь: за тебя начальство побеспокоится и тебе место найдет, где само захотит. Местов много... Чита, Нерчинский или там Петровский завод. Будешь, дура баба, тачку возить да руду долбить. А вздумаешь бунтовать — прогонят тебя по зеленой улице али палач кнут на тебе отмеряет. Каторгу отживешь — тебя на поселение. А там, глядишь, состаришься и сама жить не захочешь. Я службу хорошо знаю, все естество тебе могу объяснить, жаль только, что рома у тебя нет. Сержанта Левонтия вся Америка мало еще понимает. Я сквозь все прошел. В Новгороде бывал, их сиятельства графа Ракчеева, как тебя, видел. Ты у меня, баба, говори, да оглядывайся!

— Страсти какие, сержант, говоришь! — шумно вздохнула Таисья Ивановна. — Что ты стоишь как пень? Присел хоть бы на завалинку. За это начальство не взыщет. Притомился поди. Говоришь — у всех служба. Значит, ты не от себя изверг такой?

— Я тебе, баба, по службе и присяге так говорю, — сказал, понизив голос, сержант. — В России малый человек зверем сам по себе никак не будет. А садиться я права не имею — сполняю устав. Кто тебя знает — может, ты сама же господину правителю на меня скажешь. А касательно Петровского завода я так

объясню: службу я сполнял, за всем следил, докладывал по начальству, но человеком оставался. Господа преступники ничего худого про меня никогда не скажут. Да и кто знает, может, они в люди выйдут да обо мне вдруг вспомкят? Добра я много сделал. Ежели на нумера считать, так у меня за это должно быть не девять зубов выбито, а шестьдесят четыре. Да зубов разве на всех напасешься? — рассудительно спросил сержант.

— А сейчас почему ты такой привязчивый? — задала вопрос стряпка. — Все служба да служба, — передразнила она Левонтия. — Шел бы сейчас домой к бабе отдыхать, чем под чужим окошком торчать. А то пойдем с тобой в лес но грибы вмести; глядишь, по ведру и наберем... Одной мне идти — индиан боязно...

— Так тебе и пойдешь. А Калистрат на что? Враз сюда заявится. Пожалей меня, Таисья, погляди, что твой Загоскин делает? Ведь мне докладывать надо.

— Ах ты змей подколодный! Ты за кого меня принимаешь? Да что может больной человек делать? Спит поди. Ты меня в шпиены зачислить хочешь? Постой, постой, я сейчас только до сеней добегу. Там Кузьма рогатину свою забыл!

Скоро под окошком раздался жалобный крик Левонтия. Загоскин вскочил с постели и подошел к окну. Таисья Ивановна стояла прямо

перед сержантом, держа в руках копье Кузьмы. Широкий железный наконечник упирался прямо в грудь Левонтия, и он закрывал рукой место, где была привешена оловянная медаль.

— Сам уйду, не трожь! — кричал сержант. — Только ты за это ответишь!

— Иди докладывай, иродово семя! — зло ответила Таисья Ивановна.

Вслед за этим наступило молчание. Загошкин понял, что сержант Левонтий ударился в позорное бегство.

Остаток дня прошел без особых событий. Больного навестил доктор Флит. Неизвестно, знал ли он о домашнем аресте или только делал вид, что ему ничего не известно, но держался так, как будто ничего не случилось. Он, между прочим, хотел получить от Загошкина сведения о проказе среди индейцев Квихпака. Лекарю нужно было составить отчет об охране народного здоровья населения Русской Америки, а графа о проказе в отчете пустовала.

Загошкин уже давно привык к тому, что его знаниями и опытом пользовались под разными предлогами все, кому не лень. Он с увлечением рассказывал лекарю, что он слышал о проказе, об очагах страшной болезни... Они долго рассуждали о причинах ее и пришли к убеждению, что она поражает прежде всего людей, которые живут близ моря и питаются сырой рыбой. Лекарь записал сведения, полученные от больного, и, нахохлившись, ушел к себе в больницу.

На закате кто-то тихо постучал в окно. Загоскин увидел сержанта Левонтия. Он ози-
рался.

— Дозвольте зайти, господин Загоскин, —
умоляюще произнес сержант.

— Ну, заходи, если надо...

Левонтий переступал с ноги на ногу.

— А вы меня встреньте. Я через кухню
боюсь идти. Как бы Таисья меня из-за печки
копьем не саданула. Грех один с этими бабами.
Дома от жены жизни нет, все пилит, и здесь
сегодня попало. Калистрат не бывал? Нет? Ну и
слава богу!

Добравшись до комнаты Загоскина, сержант
осмелел.

— Зачем я пришел? — забормотал он. —
Задели меня сегодня за сердце Таисьины слова.
Говорите, она по грибы пошла? Оно и лучше;
прямо не знаю, как теперь вас и караулить при
таком асиде. Я вам подарок принес. Окошко-то
закройте, чтоб никто не подглядел. Стало быть,
когда я в Петровском заводе был, то там лейте-
нант Бестужев всякие занятия делали по науч-
ной части. Я им в каземат приносил струмент
разный... И вот, когда прощаться со мной стали,
они мне и подарили одну тайную вещь...

Сержант полез за пазуху и вытянул гряз-
ный платок с узелком. Узелок так крепко был
затянут, что Левонтий развязывал его зу-
бами.

— Вот, извольте! — Левонтий протянул

руку. На ладони лежал темный перстень. — Берите, берите! Вы его примерьте.

Загоскин взял тяжелое кольцо. Оно было выковано из железа, а изнутри выложено серебром. По серебру вился несложный узор чернью.

— Это, стало быть, они из кандалов своих перстенок сделали — для памяти. А чернь положил один каторжный ремесленный, из Устюга родом. Лейтенант Бестужев задумчивы были, меня подозревали и сказали: «Вот тебе, Левонтий, возьми на память и никому не показывай! А как встретишь человека, который на меня судьбой похож, то ему перстень и отдай. Я помру, а кольцо жить будет...» Ну, я, конечно, с понятием. Раз человек мне доверие сделал, я перстенок берегу. А как ваша судьба с ихней малость сходна, то вы кольцо себе и берите. Теперь вы увидите, что за человек есть сержант Левонтий! Внутре кольца не по-русскому что-то написано, вы хорошенько поглядите.

Загоскин поднес кольцо к глазам и с трудом разобрал надпись из латинских букв, тускло блестевших среди черного узора: «Mors et vita» — «Смерть и жизнь».

Загоскин попробовал надеть кольцо на безымянный палец левой руки. Оно не только пришлось впору, но охватило палец так плотно, что снять его было уже трудно.

— Без кузнеца теперь и не стащить, — сказал довольным голосом Левонтий. — Может, оно вам счастье принесет, господин Загоскин.

— Долго ли ты еще меня караулить будешь? — спросил Загоскин сержанта.

— Это как начальство, — ответил Левонтий. — По мне, так вы совсем безопасный человек, гуляли бы, сколько хотели. Я вот что слышал от Калистрата, — добавил он, понизив голос. — Их высокоблагородие кому-то говорили: подержим их — это, значит, вас — до охотского корабля, а там в отставку — и пусть в Россию едут... И что вы им сделать такое могли, ума просто не приложу. И еще Калистрат спьяну говорил, что на вас особенно злобятся господин Рахижан. Они в российскую бытность по полиции служили, но чем-то замарались. — Левонтий понизил снова голос. — Их оттуда попросили, и господин Рахижан, чтоб оправдание себе сделать, тульских купцов ложно оговорили. А оговорив купцов, решили они бежать в Бухарию... В Ирбите, на ярмарке, они были в бильярдных игроках и вновь замарались чем-то. Так до Охотска и дошли, а что там делали — в точности никто не знает. А здесь у нас полиции нет, и жить господину Рахижану весьма сходственно. Они все услуги правителю делают, только чтоб в приятность войти. С виду ласковы, но во хмелю ужасно злобны, и даже Калистрат тогда ихних дубин опасается... Главная беда от них и идет, — вздохнул сержанта. — Вот что я от Калистрата узнал.

И Левонтий пошел снова под окошко...



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Наутро явился совершенно неожиданный гость. Это был начальник чертежной Рахижан. Раскланиваясь и расшаркиваясь, он вынул из-за обшлага мундира сложенные вчетверо бумаги. Костяную дубинку с бумажной наклейкой он поставил в угол. Поводя круглыми плечами, Рахижан разложил листы на столе Загоскина.

— Прошу великодушно прощения, что беспокою, — начал Рахижан тонким голосом. — Но дело превыше всех нас и даже нашего здоровья. Вы изволите болеть, и я тоже простудился: намедни в дождь просквозило меня в бильярдной, скипидаром пришлось натираться. А вот это, изволите видеть, экстракт из различных ваших замечаний и записок. Соблаговолите на них взглянуть, может быть, что поправить вздумаете. Прибавлять тут нечего, я все лишнее удалил...

Бадахшанский Князь развернул переписанные великолепным писарским почерком листы. Загоскин пробежал их один за другим и в недоумении взглянул на Рахижана. Ни в одной из этих коротких и сухих сводок даже не упоминалось имени Загоскина! «Экспедиция Российско-Американской компании в бассейн реки Квихпак» — и все. Об итогах работ было сказано очень скупо, все «побочные», как казалось Рахижану, сведения были им тщательно вытравлены. Зато он старательно, на отдельных таблицах, разместил список определенных Загоскиным астрономических пунктов в бассейнах Квихпака и Кускоквима — всего их было сорок. Затем шла таблица с подсчетом количества населения юконских областей и полярного Приморья, отдельная схематическая карта дельты Квихпака и его низовьев, подробный перечень бобровых плотин.

— А переносы? — спросил Загоскин, бледнея от гнева. — Что же вы переносы не обозначили? В них вся суть дела, все возможности будущей правильной торговли. Если упорядочить пути сообщения, развить водные коммуникации внутри материка и особенно на междуречье, то Компании будет от этого лишь выгода. Мои изыскания — пока только разведка. Извольте заняться переносами!

Жирное лицо Бадахшанского Князя расплылось в улыбку.

— Водные коммуникации? Здесь Аляска.

И никакой системы, подобной Вышневолоцкой, не устроишь, — с оттенком какого-то торжества сказал Рахижан. — Чего тут мудрить? На наш век бобров хватит, а как уж, какими переносами индейцы доставляют меха на «одиночки» и в редуты — дело не наше... А вы бы прилегли, господин Загоскин, раз нездоровы. Ну, тут я, разумеется, всю поэзию удалил. Сорокопуты, лапландские воробьи, зимородки — да господин правитель и читать бы об этом не стали-с... Пусть там себе эти птички порхают, но в отчете о них писать не следует. И также о костях мастодонтов я удалил. А каменный уголь? Да разве его мы сможем сейчас добывать, когда людей для пушных промыслов не хватает?.. О неразумных языческих игрищах и поминках писать тоже вряд ли стоит-с... Ну а дальше — вы меня простите — у вас раскиданы были вещи в духе «Библиотеки для детского чтения». Помилуйте, зачем Компании знать, когда первая капель бывает, или, извините, о первом крике лягушек, или еще о том, как медведь журавля скрадывает? Именно-с — для детского чтения все это, так же как о кругах возле солнца, о которых вы изволите распространяться. А вот об успехах православия в приморских селениях вы умалчиваете по непонятной причине. Начальство, особенно духовное, не будет довольно этим. А о всяких животных тварях вы пишете с упоением и, не скрою, со знанием дела... Теперь соблаговолите на моих

бумагах черкнуть свою подпись, что вы согласны с материалами: все же собирали их вы...

Как хотелось Загоскину своротить набок жирную скулу Бадахшанского Князя! Но он сдержался и лишь сказал Рахижану насколько мог спокойно и учтиво:

— Подписи моей вы не получите никогда. Кроме того, очевидно, сейчас вас зовет к себе ваше бильярдное поприще.

— Очень жаль, — приятно улыбнулся Рахижан. — Мне весьма жаль вас, господин Загоскин. Ведь вам и без того трудно восстановить отношения с господином правителем. Советую не волноваться, отдохнуть и подумать обо всем. Окошечко закройте, как будете ложиться, — свежо-с! Нервическая горячка в простудную или гнилую перейти вполне может. Силы поберегите — еще нужны будут. Разрешите пожелать выздоровления.

— Всего доброго! — Загоскин с облегчением захлопнул за Бадахшанским Князем дверь.

— Не огорчайтесь, — донесся вкрадчивый голос Рахижана уже из темного коридора. — О пташках и прочем еще успеете написать, когда прибудете в Россию-с. Небось черновички у вас остались для всякого случая. — И он ушел, ступая мягко и почти бесшумно.

Домашний арест вскоре был снят так же внезапно, как и учрежден.

— Гляди, Левонтя-то как ветром сдуло, — говорила Таисья Ивановна. — Нет и нет его под окошком. Совесть замучила или что другое. Возле батареи снова стоит, сегодня проходила — видела. Ты меня послушай, Лаврентий Алексеич, тебе беспрерывно уезжать отсюда надо. Съедят они тебя, не мытьем, так катаньем возьмут. Персиянин этот, Рахижан, или как там его, все вокруг меня вертится, ласкается, а сам все про тебя норовит выпросить. Не Рахижан он, а каторжан чистый... Вот уедешь в Россию, сиди себе спокойно в усадьбе и свои дела пиши. А меня вытребуй в экономки али домоправительницы. Именьице бедное у тебя, бездоходное? Ну, тогда в службу вступай, службой живи.

— В капитан-исправники, что ли? — улыбнулся Загоскин. — Книги буду писать, Таисья Ивановна.

— Тебе от писанья одно огорчение только, — вздохнула стряпка. — Если б ты писаньем господину правителю угодил, Калистратка в комнату бы твою не лез. Да и какой доход от писанья? Нет, тебе другое надобно. На богатой женись. Я слыхала, в Пензенской губернии невесты богатые. В крайности и купецкой дочерью не побрезгуй, купцу-то поди лестно за дворянина дочку отдать...

Рассуждения о будущем семейном устройстве Загоскина были прерваны появлением сержанта Левонтя. При виде его Таисья

Ивановна угрожающе поднялась с места.
— Вот что, ремесленная вдова,— сказал
сержант,— зачем ты зря расстраиваешься?
Думаешь, зачем я пришел? Пришел кое-что гос-
подину Загоскину рассказать, что до них
касается. Я не зверь какой!

Значит, я утром сижу при батарее, а их высо-
коблагородие вышли пройтись, воздухом
подышать. И с ними господин Рахижан из чер-
тежной. И, лонни мои глаза, своими ушами слы-
шал, что они говорили. Их высокоблагородие
взяли Рахижана под локоток и говорят, что
надо, мол, господина Загоскина оставить в
покое: пугнули — и хватит. А то он уедет в
Петербург и начнет всякие кляузы строить. Себе
станет тогда дороже, и от левизоров покоя не
будет. Лучше с ним по-хорошему расстаться, а в
Петербург все же отписать, что он в поведении
был дерзок, ну а в особом ни в чем не замешан.
Нрав у него — то есть это, стало быть, у
вас,— говорят, твердый и мстительный. Лучше
добром сделать, а оставлять его здесь не будем
тоже. После этих слов они оба по лестничке
прошли к себе на Кекур... Значит, вы теперь не
сумлевайтесь. Только вы Калистрату не гово-
рите, что я здесь был. Сейчас я, значит, в
провиантский магазин отпросился за
мелом.— Сержант показал на покрытый белой
пылью кулек, который он держал в руках.—
Мел-то надобен мне, чтобы пушки чистить,—
пояснил Левонтий.— Только как орудию чи-

стить? В пальцах ревматизма ужасная, мозжат и мозжат...

— Ну ладно,— улыбнулся, поняв намек, Загоскин,— так и быть, я тебе полтину дам. А насчет разговора не придумал?

— Покорно благодарим,— улыбнулся Левонтий всеми морщинками своего лица.— Зачем же врать? — Он вытащил платок из-за пазухи.— Теперь уж вы как есть свободные люди,— бормотал он, завязывая в платок новую полтину.

— Левонтий,— тихо сказала Таисья Ивановна.— Теперь я поняла, что ты есть за человек. А я на тебя думала, что ты не от службы, а от себя жесток. погоди, я тебе и свою полтину принесу...

— Да нешто у нас понятия нету? — с достоинством спросил сержант.— Разве я могу полтину вдовью взять! Ты уж лучше ее себе побереги, на гербовую бумагу али там на что еще. В церкву сходи, свечу поставь, может, господь вечное твое денежное моление и услышит на сей раз,— прочувствованию проговорил Левонтий.

— А ты индейца Кузьму нигде не видел? Увидишь, так пришли ко мне.

— Он на промысел отправлен. Вчера как раз двадцать байдар в проливы снаряжены... А колечко-то железное на удачу вам пошло... Ну, счастливо оставаться...

— Счастливо, сержант! Спасибо. И ты,

Таисья Ивановна, иди. Хватит тут тебе о невестах рассуждать.

Оставшись один, Загоскин углубился в работу. Раскрытая книга с историей Джона Теннера лежала на столе. Писал он долго, до сумерек. Когда смерклось, Загоскин пошел прогуляться. На ногах он держался твердо, слабость от болезни уже не давала знать о себе. Он ушел в приморский поселок. Море грозно ворочалось за деревянным молом. Ветер доносил с островов запах хвои.

Во сне в ту ночь Загоскин видел водопады, светлые облака и широкие спокойные реки, освещенные солнцем. Вспомнив утром эти сны, он понял, что выздоровел.





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

«Люди, покаявшие жизнь свою в образованности и ее привычках, избалованные вниманием фортуны, наверно, не поймут меня и поступков моих. Но к поступкам этим призывала меня вся жизнь моя, полная горьких разочарований, лишений и скитальчества. Вот уже год прошел с тех пор, как я ступил на землю отчизны, которую я люблю всем сердцем. Но к чему приготовила она меня? Юность прошла в скитаниях по чужим морям и странам от Понта Евксинского до хладных просторов Гиперборейских. В другой половине земного шара, в дикой пустыне Американской, оставил я любовь свою, которой было суждено родиться именно там, в стране, где я столь долго испытывал силу своего духа, где морозы и метели закалили мое тело, но не ожесточили сердце и не убили любви к людям и жизни, которая, как я и сейчас полагаю, есть высший дар Натуры.

На берега отчизны я возвратился еще более закаленным, исполненным мыслей о том, что я свершил все, что мог, для познания столь отдаленных стран, их натуры и людей. Не моя вина в том, что люди косные отвергли все то, что я открыл, не воспользовались щедрыми дарами богатых стран, в высокомерии своем отказались выслушать разумный голос человека, пекущегося не о личном благе, а о чести и процветании отчизны. Думал я, что отечество встретит меня иначе и что хоть теперь-то вознаградит мои чаяния и надежды. Но сколь я ни ходил по министерствам и департаментам, доказывая всюду будущие выгоды от золота на Квихпаке, сколь записок и проектов ни подавал, фортуна ни разу не была ко мне благосклонна.

И вот, удалившись на время от столичного шума в родной город, не имея даже своего крова для любимых занятий, решил я посвятить досуги составлению записок о странствиях по Аляске.

Итак, теперь я сижу в Пензе, на Лекарской улице, в номерах «Бразилии». Больше половины повести, а именно двенадцать тетрадей, мною уже отданы в переписку одному семинаристу. Занятиям моим сильно мешает шум — номер мой в соседстве с залом ресторации. За стеною весь день и вечер шумит хриплый трактирный орган и стучат бильярдные шары. Стук их напоминает мне ненавистного Рахижана, играющего в алагер на Кекуре, и вызывает нер-

вическое напряжение, которое я, однако, преодолеваю занятиями. Пишу я больше ночами, когда за стеной воцаряется спокойствие. Тогда лампы и свечи в медных канделябрах делаются единственными собеседниками моими, и им да бумаге вверяю я всю радость и горечь воспоминаний. Повесть свою я хочу завершить как можно скорее. Из-за этого я даже не успел побывать в родных местах, где свойственники мои, как я слышал, успели овладеть имением, доставшимся мне от родителей, и один бог знает, сумею ли я его воротить обратно. Сиротский суд признал меня безвестно отсутствующим и передал убогое мое имущество в руки других людей. Все средства, которые были у меня, обратить хочу на издание своего повествования. А если до этого мне удастся найти журнал, который согласится напечатать мои труды, то этим заработком я сильно поправлю все дела...

Возвращусь к той осени, когда я покидал Ситху с охотским кораблем. Главный правитель дозволил мне взять друга моего, индейца Кузьму, с собою до острова Кадыяка, с тем чтоб индеец после зимовки и весеннего промысла вернулся в Ситху. Содержание Кузьмы я, разумеется, принял на своей счет. Бриг «Охотск» бросил якорь в Павловской гавани. И там, когда я вышел на палубу и взорам открылись просторы близлежащего берега Аляски, сердце мое сжалось от непонятного волнения. Индеец Кузьма, взглянув на меня, дал всем видом своим

понять, что он знает причину моей душевной тревоги. Безмолвно, как заговорщики, мы начали сборы...

Из вещей моих я взял бисер, топор, ружье и пистолет, запас свинца и пороха и компас. Командира «Охотска» я упросил не разглашать о нашем уходе, на что он, как честный офицер и моряк, дал согласие. Я также попросил его передать весь мой багаж, сложенный в ящики, охотской конторе Российско-Американской компании. Ведь я к лету надеялся быть в Охотске! В Павловской гавани мы нашли индейцев, которые должны были отправиться на материк. За несколько четвертей алого бисера они согласились перевезти нас через пролив Шелехова. Мы плыли ночью, при луне. Индейцы дружно гребли, откидывая при каждом взмахе весел лосиные плащи, покрывавшие их плечи. Перья ястреба в высоко взбитых волосах, лица, вымазанные киноварью и графитовой пылью, раковины, продетые в носовую хрящ делали индейцев похожими на чудовищ из страшной сказки. Но я знал ближе, чем многие, жизнь этих простых охотников и ничуть не боялся за свою судьбу. Мы высадились на серые скалы у мыса, который образует юго-восточное окончание полуострова Аляски; справа был залив Кука и громады Кенайских гор. Индейцы прощаясь с нами, показали на север: туда лежал наш путь.

Мне не хочется распространяться о том, ка

мы с Кузьмой шли поперек полуострова. Сначала мы преодолели перешеек между морским берегом и озером Илиамна, шагая сквозь густой лес и долго обходя бесчисленные болота. Где-то справа от нашего пути горел, пребывая в извержении, высокий вулкан. Его огонь освещал нам путь ночью. Нити дождя казались от этого пламени алыми, а лужи то красными, то черными. Если правление Российско-Американской компании позволит приложить к моему сочинению карту этой части русских владений в Америке, читатель будет иметь суждение о моем пути.

Озеро Илиамна мы переплыли на плоту, который соорудили сами. Над устройством его пришлось возиться целую неделю. Снова начались горы, леса и болота. Кузьма безошибочно отыскивал горные проходы, находя старые, хорошо протоптанные тропы, по которым ходили лоси. Как и раньше, в прежнем моем походе, я поставил на своем пути несколько крестов из лиственничных бревен, обозначив на них свое имя. Будущий путешественник убедится в том, что дни свои я проводил не праздну, ибо на каждом кресте он найдет также начертание широты и долготы местности, если беспощадное время не предаст кресты тлению и они не рухнут под косой Сатурна¹.

¹ Сатурн, или Хронос, — бог времени у древних римлян и греков.



Мы торопились, боясь, что нас застанут в пути первые заморозки и мы не сможем плыть по рекам. Незабвенный мой друг Кузьма раздобыл у индейцев-кенайцев берестяную лодку. В ней мы легко пробирались из одной мелкой речки в другую, сновали по ним легко, как игла вышивальщицы по холсту. Я не хотел идти знаковыми по прошлому походу местами.

Взгляните на карту, и вы увидите, что Квихпак и Кускоквим почти посредине своего течения выгнулись друг к другу, как скобы, одна против другой. Между скобами сими лежало очень малое пространство; водораздел был узок, и перенос через него удобен для пути. Когда мы подошли к Кускоквиму, на темной воде его заплесали как бы белые лепестки. Это был первый снегопад, но погода держалась еще теплая, и сырой снег вскоре растаял. На самом узком пространстве между речными скобами, которые мы выбрали, рос густой лес, лежали долины, но они были хорошо проходимы как по речкам, так и по тропам. Видно было, что индейцы пользовались именно этим узким перешейком при своих переходах с одной речки на другую, а промысел на зверей был удачен более всего в местностях, прилегающих к обоим дугам.

Во время последнего перехода индеец Кузьма позабавил меня тем, что на привале вынул из-за пазухи колоду засаленных карт и с уморительно серьезным видом стал гадать, что нас ждет впереди. После расспросов выясни-

лось, что карты он получил в подарок от стряпни из нашего дома и у нее же выучился гадать. Случай сей дал мне повод для размышлений о том, что варварские суеверия переходят не только от варваров к представителям более просвещенных народов, хотя и осуждаются последними, но просвещенные по сравнению с варварами люди заражают иногда дикарей европейскими предрассудками. Занимательно то, что индеец по-своему называл фигуры и масти карт. Так, вместо королей у него были шаманы, валетов он звал тойонами, десятку ник — десятью вóронами, пикового туза — Великим Вороном. Такая замена ничуть не мешала гаданью. Гадал Кузьма, конечно, тоже по-своему, но тем не менее ведь это было гаданье на картах, которых индеец раньше никогда в руки не брал.

О своих чувствах мне писать трудно, и исповедь на бумаге особенно тягостна, но я преодолеваю стыдливость сердца и вверяю его разуму. Пусть разум мой со временем осудит сердце, если оно будет достойно осуждения! И пусть снисходительный читатель этих записок вынесет беспристрастный приговор моим поступкам, на которые толкало меня сердце, не успевшее оледенеть под вьюгами стран Гиперборейских!

Я шел в Бобровый Дом, куда влекли меня веления моего сердца...

Любезный читатель! Вообрази, насколько измучили меня люди столь частыми вторже-

пиями в мою жизнь. Господа путешественники, побывавшие в дальних странах и вернувшиеся в гостеприимное отечество! Вы неизбежно столкнетесь с проявлениями неприятного, скажу прямо — назойливого любопытства со стороны соотечественников. Едва вы отдадите в полицию свой вид, как вас уже сочтет долгом побеспокоить квартальный почтительными, но настойчивыми расспросами: где находится Аляска, к какой губернии она принадлежит? Услышав ответ, что эта часть империи Российской ни в какую губернию не входит, на уезды не разделяется и даже полиции своей не имеет, квартальный, как пораженный громом, долго будет смотреть на вас, а потом, подобрав саблю, ринется с донесением по начальству. Вас обязательно вызовут в полицию, подвергнут унижительному допросу, и полицейский офицер всем своим видом покажет вам возмущение, как будто лично вы должны ответить за то, что на Аляске нет капитан-исправников. И на пашпорте вашем не так-то скоро появится пометка: «...явлен в Н-ской полиции». Потом в «Губернских ведомостях», в самом конце местных новостей, будет объявлено о вновь прибывших в город Пензу — кто они и откуда приехали. Заседатель из Краснослободска, симбирский ассессор, протоиерей, два гусарских офицера, купец, кавалерийский ремонтер и в конце самом — «...не имеющий чина такой-то; прибыл из Российских владений в Северной

Америке». Такое известие потревожит старый город. Почему не имеющий чина? Зачем он был в Америке? Уж не из разжалованных ли и сосланных за дуэль по причине романической? Что такой человек делает и может делать в Пензе? Любопытные бесцеремонно начнут оглядывать вас, когда вы пойдете по Лекарской или Дворянской улицам. Пензенские девицы будут припадать к оттаявшим окнам, туманя своим дыханием голубые стекла.

А вечером, когда вы сидите в своем номере с запыленными обоями, мучительно разглядывая вид древних развалин и нимф на грубо намалеванных картинах, к вам обязательно кто-нибудь постучится. Это будет гусар, вымазанный от чикчир до густых усов бильярдным и картежным мелом, или чиновник в старом синем фраке, вытертом на обшлагах, а может быть, подвыпивший дьякон.

И все они назойливо будут пялить на вас глаза, рассматривать, как выходца с того света, задавать самые неуместные вопросы. Особенно их, как я заметил, смущает вид моего старого мундира без эполет. Какой-то чембарский помещик прямо спросил меня — давно ли я из Сибири? Ничего не подозревая, я ответил, что Сибирь покинул в прошедшем году, имея, конечно, в виду свой переезд из Охотска до Уральских гор большой сибирской дорогой. Тогда помещик, обнаружив внезапно какую-то стеснительность, заторопился и поспешил

откланяться. Этот и еще другие случаи дали мне понять, что многие считают меня за одного из тех людей, которые в 1825 году на площади перед Сенатом начали свой славный и трудный путь, приведший их в недра Сибири...

Благословенны просторы отчизны, занесенной снегами! Любезен сыновнему сердцу вид рябины, склонившейся над алмазным сугробом. Разрой снежный холм — и найдешь в его недрах кисть осенних ягод. Пролежав в снегу, они обрели большую прелесть. Снег и мороз не смогли погубить их.

Подобна им и русская душа. Суровая метель заметает ее, Борей леденит своим дыханием, но она горит алой рябиной на белом сугробе.

Не вечны ни снега, ни вьюги, бессмертно горенье русской души... И я пришел к вам, родные снега! Утренний дым встает над землею сизыми столбами. Вечный скиталец, я подхожу к дому, где я увидел свет. Серебряная рябина протягивает ко мне дрожащие ветви и осыпает инеем с головы до ног.

Но это лишь во сне! Я по-прежнему бездомен...»





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

«Закрывая глаза, вспоминаю Аляску. Вижу, как нас застала первая метель на Квихнаке. Струи жесткого снега проносились по замерзшей земле, мутно-белые вихри скрывали дневной свет. Лыж у нас не было, и мы шли по тундре с трудом, едва переставляя ноги, и слышали, как вокруг нас шевелятся подвижные сугробы: снег передвигался, как передвигаются пески в пустыне во время урагана. Вот тогда-то я потерял рукавицу с левой руки,.. Я ползал по земле, силясь ее найти, разрыхлял правой рукой снег, но все было тщетно. Обнаженная кисть уже не гнулась, и я чувствовал такую боль, как будто она была погружена в расплавленное железо. Особенно болел палец, на котором я носил подарок сержанта Левонтия — тесное железное кольцо с надписью «Смерть и жизнь»... Я попробовал обернуть кисть краем моего лоси-

ного плаща; боль на время стихла. Пальцы еще шевелились все, кроме одного — бызымянного.

Вскоре мы с Кузьмой вошли в заросли ивняка, где ветви царапали мне лицо и цеплялись за одежду. Это было нашим спасением. Снежную бурю мы пережидали в мелкоколесье. Кузьма почти ощупью нарубил тонором ивовых ветвей и сделал из них подобие шалаша. Непрочные стены нашего убежища тряслись и гнулись под напором ветра, метель готова была раскидать их. Сидя в ивовом шалаше, я старался хоть немного отогреть обмороженную руку, то пряча ее за пазуху, то тихо проводя ею по голенищу мехового сапога.

Когда метель стихла и мы вышли из своего убежища, Кузьма отрезал край полы от моего плаща и обмотал куском лосины отмороженную руку. К пальцу с кольцом невозможно было прикоснуться — так он болел. После метели, как это часто бывает, взошло яркое солнце. Ивы стали золотыми, нескончаемые снега порозовели, а небо походило на голубое море с белыми от изморози краями.

К вечеру мы увидели огни Бобрового Дома. Радости и удивлению Ке-ли-лын и ее индейцев не было конца. У огня очага сидели она, Одноглазый и тот молодой индеец, который когда-то привозил к нам письмо на бересте. Никто даже не спросил меня, зачем я пришел под этот убогий, но гостеприимный кров, — все было понятно без слов. Бедные дети Натуры! Повинны

ли они в диких обычаях, в коих проводят жизнь свою? Во время нашего ночного пира нам прислуживал пожилой индеец; я без труда узнал в нем бывшего тойона, превращенного Ке-ли-лын в раба — калгу. Нога его была заключена в основую колодку. Одноглазый и молодой индеец о чем-то долго шептались, кивая на раба, который всем видом своим выражал скорбь и угнетение. Оказалось, что между моими друзьями шел спор, когда удобнее всего исполнить обычай предков и принести раба в жертву. Я постарался отговорить их от этого, и они решили попросту продать калгу соседнему племени, если оно даст хорошую цену.

Перед тем как отпустить Одноглазого и молодого индейца, Ке-ли-лын говорила с ними о делах селения. Заботы ее были неистощимы. Она спрашивала: в порядке ли у индейцев ловушки для охоты на зверей, убраны ли на зиму рыболовные снасти, каковы виды на зимнюю охоту, запасен ли корм для собак?

Я, просвещенный европеец, был удивлен таким вниманием индианки к своему народу. Ке-ли-лын приказывала Одноглазому при дележке охотничьей добычи ленивым и нерадивым охотникам давать меньшую долю, награждая умелых и отважных. Наконец Одноглазый, Кузьма и молодой индеец ушли, и мы остались вдвоем с Ке-ли-лын... Судьбе угодно было, чтобы этот ночной пир превратился в брачное торжество...

О номера «Бразилия»! Бросаю записки и иду открывать: снова в дверь кто-то стучится, в десятый раз отрывая меня от работы. Так и есть! Давешний гусар зовет в свой номер — на вист вчетвером. Очень мне нужны их робберы! К тому же я не хочу обращать внимание партнеров по висту на мою беспалую руку...

Кстати, пора сказать о пальце. Он так распух и почернел, что на третий день после моего прихода в Бобровый Дом я уже не в силах был переносить ужасную боль. Кузьма, услышав мои жалобы, безмолвно показал на свой острый охотничий нож. Потом он спросил:

— Белый Горноста́й, помнишь, я рассказывал тебе о том, что делает алеут, когда он попадает в лисий капкан?

Вслед за этим он вынул клинок из ножен. Пламя костра скользнуло по стали.

— Хочешь, я все сделаю сам? — спросил Кузьма.

— Нет, — ответил я твердо и принял нож из его рук.

Нож был тяжелым. Я отыскал чурбан, стоявший в углу хижины. Ке-ли-лын безмолвно следила за этими приготовлениями. Тому, что я сейчас отрублю себе палец, она не придавала никакого значения. Будет больно? Но индейцы привыкли переносить боль с усмешкой. Когда молодые туземцы держат испытание на звание воина, их подвергают самым жестоким пыткам, и зрелище истязаний не трогает сердца ни вои-

нов, ни женщин, а у детей вызывает лишь простодушный смех. Что значила по сравнению с этим потеря одного пальца? Я попробовал лезвие на краю чурбана; оно было как бритва. Мне хотелось отрезать два первых сустава; третий сустав не был еще черен. Стиснув зубы, я сколько мог, сдвинул кольцо вниз и поставил лезвие ножа на палец, стараясь держать клинок совершенно прямо. Затем я изо всех сил ударил по пальцу ножом. Сила удара пришлась все же по кольцу, и нож не проник в палец так, как это было нужно. Срез чурбана покрылся кровью. Кузьма спокойно прикуривал трубку у очага. Ке-ли-лын молча подошла ко мне и осмотрела палец. Затем она знаком приказала мне поставить лезвие ножа снова на рану и ловко ударила по ножу. Что-то звякнуло — это был звук железного кольца. Оно упало на пол вместе с пальцем! Оказалось, что первым ударом я только раздробил кости сустава. Ке-ли-лын осторожно выбрала осколки кости из раны. Она внимательно поглядела мне в лицо и прочла на нем нечто вроде улыбки, которую я пытался изобразить. Обрубок пальца она окунула в кипящий медвежий жир и при этом вновь посмотрела мне в глаза. Я улыбнулся! Так совершилось испытание меня как мужа и воина.

Я пробыл в Бобровом Доме всю зиму. Ке-ли-лын, конечно, знала, что я не смогу остаться здесь навсегда. На руке ее чернело тяжелое железное кольцо. Знал ли человек, выковавший

его во мраке каторжного бытия, что создание его терпеливых рук будет тускло блеснуть на пальце индианки? Но обряд необыкновенного обручения был свершен, свершен почти у границ Полярного круга.

Возвратившиеся с охоты индейцы предупредили меня, что обо мне расспрашивали какие-то европейцы. Кто они? Это до сих пор осталось тайной. Может быть, бродяги хотели мстить мне и Ке-ли-лын за смерть человека с совиными глазами?

Я не хотел, чтобы из-за меня пострадал Бобровый Дом. Когда по Квихпаку стали кружиться зеленые льдины и река заревела, как огромный потревоженный зверь, я стал собираться в путь. Я был озабочен судьбой Кузьмы: он мог быть сурово наказан за самовольную отлучку на Квихпак.

— Хочешь, я возьму тебя в Россию? — спросил я его.

— Нет, — ответил он. — Я умру в стране предков. Тебе тоже надо умереть на родине. Ты мой друг, но своей страны я не оставляю никогда...

Ке-ли-лын с индейцами проводила меня до лодки. Она казалась спокойной и дышала ровно; панцирь из бирюзы на ее груди почти не шелохнулся. В руке она держала копье. И только когда я поставил ногу на дно лодки, качавшейся на волнах, я заметил, как дрогнул конец ее кошья. На прощанье она улыбнулась

мне. Улыбка была похожа на мою, когда я отрезал себе палец!

Мы спустились вниз по Квихпаку. В Михайловском редуте меня встретили очень сурово. Егорыч, начальник укрепления, боясь ответственности перед начальством, сочтя меня за беглого, отобрал мои бумаги и оружие, ударив при этом Кузьму по лицу.

Меня он еще боялся трогать!

Наглый печорский мещанин все время следовал по пятам за нами, как будто мы с Кузьмой были невесть какими преступниками. Но, одолев мои бумаги и увидя в них увольнительную, выданную мне главным правителем, Егорыч извинился и разрешил мне жить у него в ожидании корабля.

До Кадыяка я плыл на компанейском бриге и, распростившись там с Кузьмой навсегда, пересел на охотское судно. В Охотске, в сем унылом городе, стоящем при песчаной косе, я не терял времени праздно.

В городских архивах я отыскал дела, касающиеся тех времен, когда неутомимый Шелехов впервые простер отсюда свою руку на Восточный океан. Драгоценные бумаги хранились в небрежении, и сколь я ни внушал архивариусу должных мыслей об уважении к летописям, он при мне не удосужился ни разу навести порядок среди тысяч бумаг, сваленных прямо на пол в огромной бревенчатой избе. Такие же изыскания я предпринимал и в других городах, стоя-

щих на моем пути,— в Якутске, Иркутске и Красноярске.

Поздней ночью, когда над снегами мерцала Полярная звезда, нарочито свернув с Сибирского тракта в город, я проезжал через Ялуторовск. Улицы были погружены в темноту, и лишь в одном доме горел яркий свет.

— Вот здесь они и проживают! — сказал ямщик, показывая кнутовищем на светлые окна.

Мне хотелось выскочить из тесного возка, постучаться в двери этого дома, быть в нем гостем. Ведь здесь жили люди, которые сковали железное кольцо с надписью о жизни и смерти. Как бы они посмотрели на ночное посещение незнакомца?!

— Гони! — сказал я и толкнул ямщика в спину.

Бубенцы начали снова свою стремительную песнь. Кони ринулись так, как будто хотели унести нас в звездное небо...

Но хватит отвлекаться от нашего прямого рассказа! Прибыв в Санкт-Петербург, я незамедлительно отправился в дом Российско-Американской компании, что у Синего моста. Я думал, что добьюсь приема в тот же день, чтобы изложить господину первенствующему директору все свои мнения о присутствии золота на Квихнаке. Но мои ожидания оказались тщетными. В стенах Главного правления Компании господствовали порядки, свойствен-

ные скорее какому-нибудь уездному присутствию, а не учреждению, состоящему под крылатым знаком Меркурия. Проворный бог удачи держался вдалеке от сих стен. Писцы, затянутые в одинаковые фраки с медными пуговицами, зевали и покусывали кончики перьев, столон начальники сидели с каменными лицами. Все лишь делали вид, что заняты работой. Сколько все это было похоже на место, откуда управляли морями и землями, раскинувшимися в просторах другого полушария! Я сидел в большом зале, украшенном красиво выписанными таблицами, заключенными в золоченые рамы, и дожидался теперь уже не первенствующего директора, а всего-навсего начальника канцелярии. На круглом столе в зале лежали последние выпуски журналов. Я попросил дозволения и раскрыл «Морской вестник».

Кровь бросилась мне в голову, когда я увидел напечатанными за чужой подписью все мои заметки, которые взял у меня на Кекуре Бадахшанский Князь. Он безбожно путал названия индейских племен, а на приложенной к материалам карте неверно обозначил несколько притоков Квихпака. Пошлая развязность Бадахшанского Князя была из каждой строчки. Все наблюдения мои в Михайловском редуте, вплоть до измерения температуры мерзлотных почв, Рахижан осмелился приписать печорскому мещанину, которого называл «талантом, вышедшим из недр народа и обнаружившим

отличные данные». Негодяй побоялся поставить свое полное имя под статьей. В этом же выпуске была напечатана его заметка «Грозный Феномен, или Падающая звезда над Русской Америкой». Я с трудом дочитал до конца эту грубую и безграмотную стряпню. Рахижан писал, что только достойное рвение главного правителя к поддержке научных трудов помогло тому, что случай падения метеорита стал известен просвещенному миру! Наверно, в это время на мне не было лица, потому что сто-лоначальник, подбежавший ко мне, чтобы при-гласить меня к правителю канцелярии, оробев, зацепился фалдою фрака за стул.

Начальник канцелярии милостиво обратил ко мне лицо, покрытое морщинами так густо, что оно напомнило мне лицо индейского шамана, расчерченное графитом.

— Слушаю,— проскрипел он, приложив ладонь к уху, из которого торчал изрядный пучок седых волос.

Стараясь говорить спокойнее, я поведал ему о золоте на Квихнаке, о своих выводах относительно переносов, о новых возможностях торговли — словом, обо всем, чем я жил и мучился все это время. Упомянул я и о судьбе архивов в сибирских городах.

— Рапóрты следует представить — по каждому из прѣдметов, задетых вами,— сказал он и вдруг воззрился, как бы что-то припоминая, на мои плечи, не прикрытые эполетами.— Но вам,

как не имеющему чина, надлежит подать прошения на гербовой бумаге третьего разбора по два рубля за лист... Прощения частных лиц правление Компании рассматривает в течение трех месяцев со дня подачи... Петров! Приглашай следующего, если кто ожидает!

— Господин начальник канцелярии, слава отчизны не может ждать столь долго!

— На гербовой третьего разбора, вам говорят,— уже в раздражении повторил начальник канцелярии, и лицо его вдруг покрылось целой сетью косых морщин.

— Вам разъясняют, господин! — решил ввязаться в разговор завитой столоначальник.— Вам все изложили-с. Сейчас здесь не рылеевские времена. При Рылееве в правлении толчея была целый день. Всякий мещанин в чуйке, считая себя акционером, без доклада лез в кабинеты. Теперь заведен строгий порядок, и нарушать его не дозволяется никому. Гербовую можете взять на первом столе во второй комнате налево. Не мешайте начальству! Они мыслят...

Тогда я попробовал напомнить столоначальнику о деле Таисьи Ивановны; я попросил разыскать ее бесчисленные прошения и доложить о них высшему начальству.

— Пусть сама просительница позаботится обо всем,— сказал канцелярист, сделав скучающее лицо,— зачем вы беретесь за то, что надлежит делать стряпчему? Да и дело за давностью

лет, наверно, отослано в архив. То золото, то вдова... Не пойму вас, господин, чего вы желаете... Счастливо оставаться!..

Столоначальник тут же стал докладывать правителю канцелярии содержание депеш, полученных из Ново-Архангельска. В одной из них излагалось пространное «Дело об угрызении крысами двух колпаков холщовых в Ново-Архангельском компанейском гошпитале и об отнесении убытков на счет лекаря Флита».

Правитель озабоченно слушал историческую часть записки. Промышленные, находясь в гошпитале, сберегали в колпаках ржаные сухари. Флит не имел должного попечения. Угрызение казенных колпаков произошло по его небрежению.

Со всей значительностью излагая свое заключение, правитель канцелярии стал выводить наискось, через весь лист, красивые голубые строки.

Я не мог оторвать взгляда от острого пера. Во всем этом было наваждение, которое можно было уподобить гипнотическим силам.

Так встретили меня в доме у Синего моста...

Мне хотелось увидиться с престарелым Крузенштерном, но славный мореход пребывал при остатке дней своих. Нахимов находился на Черном море. Таким образом, никто не мог поддерживать мои хлопоты просвещенным ходатайством перед лицами высшими. Тогда я решил на время уединиться в родном городе и, убегая от забот

суетного и жестокого света, завершить свои записки. Статья неведомого «Обозревателя» о Джоне Теннере раскрыла мне глаза на многое. Она в изрядных выписках покоится в моих тетрадах. Ожидаю прихода семинариста, который должен принести перебеленные мои начальные рукописи... Дай бог скорее завершить мне то, что я задумал. А там будет виднее. Очевидно, мне придется вступить в гражданскую службу — куда возьмут. Говорят, что в Рязанской губернии есть свободные вакансии по лесному ведомству...»





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Так писал Загоскин, сидя в номерах «Бразилия».

Короткий отдых свой он проводил на занесенных снегом берегах Суры, где любил гулять в сумерках, когда от голубых прорубей шел легкий пар и пензенские татары гнали на водопой лошадей с покрытыми инеем боками. Возвратившись с одной из таких прогулок, Загоскин увидел сидящего против дверей его номера маленького сельского попа.

— Вы будете господин Загоскин? — спросил попик, поднимаясь со стула. — Ожидаю вас уже порядком. Не имею чести быть знакомым с вами, но пришел по важному делу. Сельский иерей Н-ского прихода. — Священник назвал село, знакомое Загоскину с детства. В руках он держал белый сверток. — Извольте видеть, — промолвил священник, стеснительно заходя в

дверь номера, — семинарист Герасим, к которому вы поручили писцовую работу, доводится мне родным племянником. Приехал я к нему на побывку и застал его за перепиской вашего творения. И, простите меня великодушно, прочел в один вечер залпом и оторваться не мог; жаль, что родственник ваш, незабвенный Михаил Николаевич, столь безвременно покинул сию юдоль печали. Какой историк в среде сочинителей! Какого гиганта отечественной литературы подарило России скромное наше село Рамзай... — Попик от умиления произнес эти слова почти шепотом. — Михаил Николаевич обязательно бы порадовался вашему успеху. Что до сей поры знали мы о жизни диких племен, находящихся под нашей державой? Сознавали ли мы сердцем то примечательное свойство русской натуры — сохранять свою естественность даже в дебрях Северной Америки? Да и понимали ли такое великое явление, как российский флаг, развевающийся на пустынных скалах Аляски со времен Шелехова? И вам, господин Загоскин, первому выпало на долю стать нашим отечественным Купером. Мы, дойдя до солнечных пределов калифорнийских, не удосужились, ни одного пера не потунили, чтобы рассказать Европе о подвигах наших. Кто знает о том, что россияне первые дале всех проникли к Южному полюсу? Да никто. А Фаддей Беллинсгаузен, сей Одиссей полярный, еще жив. Вот почему вам, первому рассказавшему о приклю-

чений своих, я и говорю: позвольте пожать руку, поблагодарить от русского сердца...

— Откуда у вас, батюшка, знание столь далеких от вас предметов? — с удивлением спросил Загоскин, приглашая священника садиться.

— С малых лет, со школьной скамьи мечтал о странствиях, — вздохнул священник. — Сарычевым, Палласом, Джемсом Куком и иными зачитывался. Судьба же уготовала мне иной жребий. Семинария, а потом — место здесь, в Пензе, в приходе святой великомученицы Варвары. Но я прогневил преосвященного владыку излишней любовью к мирским наукам и поему был переведен в уезд, — тихо добавил поник, склонив голову.

Загоскин с явным сочувствием сказал священнику:

— Коли такая любовь у вас к путешествиям, батюшка, то можно бы было вам определиться корабельным священником. Плавали бы от Кронштадта до Ситхи...

— Не возьмут! — в отчаянии махнул рукой отец Корнилий (так звали поника). — Я у начальства до сих пор на плохом счету. А как получилось... После убиения на Кавказе сочинителя Лермонтова я без ведома духовной власти, нарушив должные правила, отслужил панихиду по боярину Михаилу, а убийцу проклял. Это в тот год, когда прах убиенного перевезли в Тарханы. Попало мне как следует. Владыко мне так

и сказал: «Благовари бога, что я тебя на покаяние в Соловки или в Суздаль не сослал». Но я до сих пор, скажу вам по секрету, не раскаиваюсь в своем поступке. Помилуйте, вся образованная Россия поэму «Мцыри» знает. В поэзии русской таких строк, сумрачно-огненных, до него никто не писал. И вдруг — убивать! Нет, не соглашайся, но не поднимай руки на творца слова...

«Ого, какой ты, оказывается!» — подумал Загоскин и ласково оглядел тщедушного попика в заплатанной рясе.

Они долго просидели за самоваром. Отец Корнилий обнаружил большие знания литературы о российско-американских колониях.

— Занимательней всех и справедливей писал, пожалуй, капитан Головин. Чистейшей, должно быть, души был человек. Отца Вениамина творения весьма обстоятельны и добросовестны. А жизнеописание Баранова, изложенное Хлебниковым, извоили читать? Он там Баранова уподобляет Ермаку...

Загоскин внимательно слушал диковинного пензенского священника.

Оказалось, что отец Корнилий читал даже рассказ самого Загоскина, напечатанный в «Сыне отечества» лет десять назад.

— Уверенным пером написано! — говорил отец Корнилий. — Читатель явственно представляет себе каспийские страны... Да! — встрепенулса попик. — Заговорился я с вами и забыл. Тетради-то извольте получить! — Он развернул

белый сверток. — Племянник мой старательно переписывал; я ему приказал удвоить внимание, описки сам исправил; теперь ни одной опечатки не найдете. Смее спросить — где печатать надеетесь?

— Еще не знаю.

— Жаль, что Михаил Николаевич скончался, — вздохнул священник, — он бы вам помог в этом деле. К Булгарину, пожалуй, не ходите. Полевой вот тоже недавно умер, потеря большая. А ведь он такие дела понимал хорошо — Мекензиево путешествие по Америке перевел... Правда, «Московский телеграф» его запрещен, как запрещены и иные издания. Я, Лаврентий Алексеевич, слежу за журналами. Только трудно стало — многие закрывают, и подписные деньги пропадают. Ром у вас какой добрый. Ямайский поди?

— Нет, гавайский, — ответил Загоскин, подливая попику рому в чай и невольно улыбаясь, вспоминая свою встречу с отцом Яковом в Ново-Архангельске.

— Может ли священнослужитель в Российской империи иметь телескоп? — вдруг спросил попик, вытирая вспотевший лоб прямо рукавом рясы. — На сей вопрос мне никто ответить не может. «Астрономия» Литтрова, после того как я ее прочел, ввергла меня в мечтание, и я решил накопить денег на телескоп. Только меня снедает мысль: не будет ли преследования от начальства? Теперь о вашей повести... Может,

мне, как священнику, и не следует давать вам подобные советы, но в столице вы должны обратиться к самому пламенному нашему публицисту — вы знаете, о ком я говорю. Крайние его убеждения и независимость не позволят ему оттолкнуть ваших исканий. И если он напечатает в своем журнале ваше сочинение, вы победили... — Перед тем как расстаться с хозяином, попик внезапно замолчал и поник головой. Все мы смертны, — сказал он. — Это истина, которую одолеть невозможно. О смерти одного лица я и дерзаю вам сообщить. Дерзаю потому, что это известие особо тягостно будет для вас. Почему я к вам пришел? Я вспомнил, как года три назад меня вызвали к умирающей в одну из усадеб нашего уезда. Я исповедал и приобщил святых тайн ту, которую вы любили в молодости. И на смертном одре она сказала мне о своей любви к вам, призналась, что любила и любит до смертного часа. Помню, была метель, яблони мерзлые стучали ветвями в окно. Возле кровати больной стояло блюдо с антоновскими яблоками — она утоляла ими жажду...

Помолчав, он продолжал:

— Я знал точно, что речь шла именно о вас, ваше имя повторяла она в бреду. И во имя того, чтобы вы знали, что на свете было сердце, которое жило одной лишь любовью к вам, я нарушил тайну исповеди. И пусть то, что вы узнали обо мне, послужит вам утешением в нелегкой вашей жизни, которую вы избрали. Язычник, и

твердый душою человек дал вам совет не меняться в лице, и я, священник, повторяю слова дикаря; простите мою смелость и позвольте мне покинуть вас в твердом убеждении, что вас не оставит и на этот раз ваше мужество...

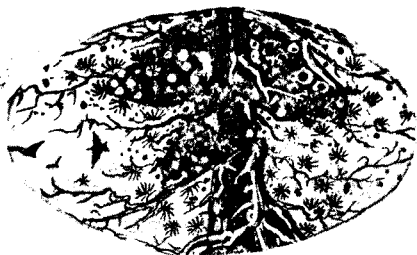
Поник тихо поклонился Загоскину и вышел из комнаты.

В ночной тишине было слышно, как он спускался по темной лестнице, ощущая руками скрипучие перила и старчески кашляя. И Загоскин вновь остался один в тесных стенах. Языки свечей то выгибались, то делались неподвижными и яркими. Но теперь он почему-то не мог смотреть на эти малые частицы огня.

Он привык к кострам, разложенным на сугробах, таким огромным, что их пламя, казалось, доставало до небосвода и сливалось с северным сиянием. И его вдруг потянуло снова туда — в снежные пустыни, в дикие леса, на просторы, озаренные дыханием вулканов. Огонь всегда казался Загоскину олицетворением жизни. Рассказ отца Корнилия, тишина человеческих нор, скудные огни свечей, слабый звон часов и сознание одиночества — все это заставляло Загоскина пробыть некоторое время в каком-то оцепенении. Очнувшись, он подошел к канделябрам и потушил все свечи, кроме одной — самой короткой и оплывшей. Огонек с голубой сердцевинкой долго реял в темной глубине комнаты. Наконец погас и он, как бы слив-

шись с зимней синевой, которой были пронизаны окна перед рассветом. Загоскин заснул, откинувшись на спинку жесткого дивана. Он не слышал, как началась жизнь в номерах «Бразилия», как зазвенели печные вьюшки, захлопали двери, хрипло застонал орган и маркер со стуком выставил на бильярд пирамиду шаров. В эти дни Загоскин, мучаясь и сомневаясь, дописывал последние страницы своей повести





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Однажды в середине дня раздался сильный стук в дверь.

— Войдите! — сказал Загоскин, переворачивая лист рукописи.

Он поднял глаза на вошедшего и невольно прикрыл ладонью лбы. Перед ним стоял огромный и, видимо, страдающий одышкой седой капитан-исправник в покрытой инеем шинели. Большие и бесцветные глаза его медленно обводили комнату, не задерживаясь ни на чем. Хозяин и гость молчали, слышно было только, как тяжело дышит полицейская грудь, перетянутая белым портупейным ремнем, увешанная большими, мгновенно запотевшими в тепле комнаты медалями.

Гость запустил пальцы в седые бакенбарды, вытащил из них тающие сосульки,

отыскал глазами стул и уселся без приглашения посреди нумера, поставив саблю между колен.

— Смотрите на меня и небось думаете, молодой человек, зачем я к вам мог пожаловать? — просипел гость, глядя куда-то вдаль. — Сочинительством изволите заниматься? Удивления достойно, почему господа сочинители так опасаются чинов полиции... Вот вы даже не изволите отвечать на мои последние слова, настолько в вас сильно заблуждение, явственна неприязнь к полицейскому мундиру. Но взять, к примеру, меня... Я сам не чужд наукам. Много лет подряд писал сочинение о зачатке тюремно-полицейских понятий у древних славян и с этой целью предпринимал даже изыскания в курганах вверенного мне уезда. За весь этот труд ласкаюсь надеждой удостоиться Демидовской премии.

— Вряд ли я могу чем-либо быть полезным вам, — промолвил Загоскин, внутренне дивясь тому, что он слышит.

Капитан-исправник между тем вынул красный платок и заботливо вытер запотевшие ножны сабли.

— Чувствительное сердце мое и пытливый дух иногда угнетены бывают обязанностями службы, — вздохнул капитан-исправник. — Но в России все служат, все приносят посильную дань отечеству. И я смиряюсь и склоняю голову перед мудростью провидения. Тружусь подобно

муравью. А как вы думаете, молодой господин, муравьи, пчелы и иные насекомые, всем образом жизни показывающие свои привычки к порядку, — не имеют ли они склонности к высшему устройству своего общества? Может быть, у муравьев тоже есть полиция? Голова кружится, когда думаешь о таких предметах. — Капитан-исправник даже прикрыл глаза.

— В муравейниках вы тоже изыскания делали?

— Пробовал, но по причине тучности своей и слабости зрения оставил занятие сие... Теперь перейду к сути дела. Для лица образованного не секрет, что в обществе человеческом сильно развиты лень, беспечность, праздное мечтание. От всего этого русский человек, натурально, идет в кабак или берется за кистень. Разбойниками вся губерния кишит; мордва и татары выказывают неповиновение начальству. Убийства, кражи крупных домашних животных, поджоги и иные насилия процветают повсеместно... Кроткие меры не помогают, круто возьмешь — еще хуже озлобишь. Полиция сельская не на должной высоте находится. И я, прочтя однажды статейку в «Северной пчеле» и из нее убедившись в наличии диких индиан, состоящих под покровительством нашего обожаемого монарха, решил подать господину министру внутренних дел записку... — Капитан-исправник вновь вытащил платок, вытер им усы и бакенбарды. — Разве мордву здешнюю или татар-конокрадов

можно чем-либо прошибить? Все средства, имеющиеся под рукой, испробованы, но, кажется, ничего не помогает. Я хотел бы, чтобы моему скромному голосу вняли. Чего я добиваюсь? Наловить бы где-нибудь в странах, откуда вы прибыли, сотни две индиан постращеннее видом и приучить их к несению полицейской и караульной службы. Вы представить себе не можете, как они могут устроить всех тех, кто не повинуется начальству! К примеру, бунтует мордва, и вдруг на мятежное селение устремляется отряд индиан, руководимый опытным полицейским чиновником. Перья, копья, дикие крики! Согласитесь, такого неожиданного зрелища никто не выдержит, все падут на колени. А там — пори сколько хочешь! Дикарей, я полагаю, надлежало бы держать в подобающем делу секрете, учредить для них особое закрытое депо, а к месту возможных происшествий индиан доставлять на пожарных лошадях. Вот только в одном я сомневаюсь, — понизил голос капитан-исправник, — не людоеды ли индиане? А то могут возникнуть различные неудобства.

— Чего же вы хотите от меня? — спросил Загоскин, силясь скрыть усмешку. — По полицейской части я не служил, не мне судить о возможной пригодности индейцев к подобной службе. Да уж не такие они и дикие, как вы их представляете...

«Что это я вздумал полицейского убеждать?» — подумал он и замолчал.

Молчал и капитан-исправник. В тишине слышалось, как тяжело, с глухим сипеньем он дышит.

— А хорошо они плавают? — вдруг спросил капитан-исправник. — Я слышал, что у них большие способности к пребыванию в воде и нырянию. В реке Мокше у нас обильные подводные завалы мореного дуба. А черный речной дуб незаменим для всякого рода поделок. Подумайте, сколь выгод принесла бы фабрикация дубовой казенной мебели для мест присутственных! Какая польза империи! Возьмите перышко в руки, прикиньте, я вам говорить буду...

— Я вам, господин капитан-исправник, и так верю...

— Мечтаю давно об учреждении подобного рода художеств... Сами посудите. Убелен сяди-нами в службе отечеству, в деле под Шенграбеном получил жестокую контузию, годы уходят. Пенсия нашему брату не так велик. А дуба в Мокше хоть отбавляй. Но как его оттуда добывать? Мордва ловит дуб баграми, веревкой и петлей, но все это не дело. Может, земноводные американские дикари пригодны были бы и для этой цели? Определить их на Мокшу, перевести в крепостное состояние или лучше устроить в поселение по образцу военного. Тогда и дубодобывающую мануфактуру учредить можно... Какая польза отечеству!.. Что же? Или вы не хотите помочь тому, чтобы науки и искусства расцвели в нашей губернии? — спросил уже

недовольным тоном капитан-исправник, переставив саблю.

— Собственно говоря, я очень занят,— объяснил спокойно Загоскин,— и надеюсь, что вы меня за это извините. Хотелось бы знать с большей точностью, каким прямым делом мог бы я вам служить.

— Слуга отечества открывает вам душу,— воскликнул полицейский чин, ударив себя по широкой груди так, что зазвенели все медали,— а вы не изволите слушать! Конечно, различные соблазнительные слова, направленные против устоев, вы слушали бы с бóльшим вниманием. Потрудитесь изъяснить, выбрали ли вы надлежащий вид на возможную отлучку из губернского города, как полагается лицу, в службе не состоящему. Какие средства имеете к пропитанию?

— Господин капитан-исправник должен бы знать, что эта комната не съезжая изба, а мой — пусть временный — кров. Если полиции требуются какие данные обо мне, пусть она меня пригласит, я приду и все изъясню. Вид мой в полицию явлен. Поэтому и прошу оставить подобный тон в обращении со мной.

— А это как еще сказать! — угрожающе просипел капитан-исправник. Он вытащил огромные очки и нацепил их на нос. Затем вынул из-за обшлага шинели какую-то бумагу.— Вы же из нашей губернии происхо-

дите, — сказал капитан-исправник. — И возможно, здесь и на жительство будете определяться. Дабы предупредить возможное сеяние плевел, я оглашу полученную мною бумагу от господина министра внутренних дел. Вот, извольте.

Капитан-исправник, значительно подчеркивая каждое слово, прочел, что Загоскин, бывший флота лейтенант, по высочайшему повелению разжалованный в матросы второй статьи, ныне возвратился в пределы Пензенской губернии после службы в российско-американских владениях, где показал себя неблагонадежным поведением и дерзким образом мыслей. О бывшем лейтенанте Загоскине, о его занятиях должны иметь суждение местные полицейские власти...

— Это что же — отдача под надзор? — спросил Загоскин.

— Не прямая, а косвенная. Написано: «Должны иметь суждение». Об отдаче под надзор полиции иначе пишется. А как же я могу иметь суждение, не узнав, какое направление имеют ваши мысли?

— А теперь узнали?

— Как же-с! С меня хватит... В короткий срок успели подвергнуть безмолвному, но явному осмеянию мысли мои о дубодобывающей мануфактуре и о пользе устрашительного индианского ополчения, с усмешкой слушали слова об образе жизни насекомых, чем и выра-

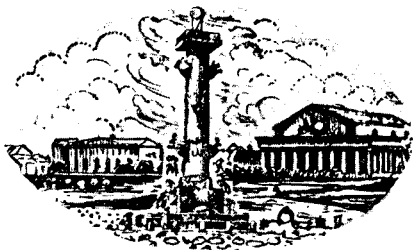
зили недоверие к проявлению высшего промысла в природе.

— Нам, кажется, больше не о чем говорить! — решительно сказал Загоскин. — Я попросту попрошу вас оставить меня.

Гость опешил. Он медленно поднялся с места и спрятал бумагу. Очки он даже позабыл снять. У порога он немного помедлил, как бы собираясь с мыслями, но, махнув рукой, сильно толкнул дверь.

— Еще ответите за крамолу! — проревел капитан-исправник уже в коридоре. Он ушел, считая концом длинной сабли ступени лестницы.





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Загоскин шагал большим туманным проспектом столицы, разглядывая надписи на высоких и сумрачных домах. Он с трудом разыскал подъезд, где тускло светилась медная дощечка с глубоко вырезанной на ней надписью, обозначавшей название журнала. Загоскин дернул ручку звонка. Двери открыл старик в рабочей блузе. Руки его были покрыты свинцовой пылью.

— К редактору? — коротко спросил наборщик и провел гостя в тесную и темноватую комнату, где стояли наборные кассы и печатные машины.

Несколько рабочих проворно брали свинцовые буквы из касс, вставляли их в верстатки и размеренно выкладывали готовый набор на блестящие вытертым железом столы. В глубине комнаты у широкого окна сидел невысокий

человек в куртке из фланели. Наборщик безмолвно показал на него Загоскину.

— Чем могу служить? — спросил редактор, подняв глаза на гостя.

Загоскин уже успел разглядеть человека во фланелевой куртке. У него был большой бледный лоб, впалые виски и утомленные работой глаза. Яркие пятна цвели на худых щеках, они были красны, как фуляр, которым было закутано горло человека.

— Я принес рукопись, — с какой-то робостью сказал Загоскин и переложил из левой руки в правую тяжелую бумажную трубку.

— Ну что же, давайте ее сюда! — сказал редактор, мельком взглянув на старую флотскую шинель гостя — холодную и без воротника, — и отодвинул в сторону недопитый стакан чая, грудку корректур и горшочек с цветущим померанцем, стоявший подле чернильницы.

Загоскин силился снять синий шнурок с бумажной трубки. Узел был туго затянут.

— Зачем рвать руками? Вот извольте ножницы. Долго работали? — спросил редактор.

— Более года...

— Ого! Эпиграф из пушкинского «Джона Теннера», — с удовлетворением произнес человек во фланелевой куртке. — Вы знали, что «Обозреватель» — это Пушкин?

— Нет, впервые слышу из ваших уст об этом, — ответил Загоскин, чувствуя, что первая

робость его прошла и он может разговаривать с этим человеком спокойно.

— Пушкин — солнце наше и гений, которому равных нет и не будет, — сказал редактор, — под конец своей удивительной жизни обратил свой взор туда, на Восточный океан. Я сам видел у него на столе книгу Шелехова. А занятия Пушкина историей Камчатки? Свяжите эти звенья. Случайностей не бывает. Мне кажется, что в вашем сочинении скрыто что-то примечательное, но надо прочесть его все. Долго ли вы пробудете в столице?

— Еще сам не знаю. Хочу определиться в службу.

— Вам придется заглянуть ко мне дня через три. Я успею прочесть все и дать вам ответ. Вы что — из флотских офицеров?

— Да... бывший лейтенант, — нехотя проговорил Загоскин.

— В прошлом году в своем журнале я давал оценку запискам одного лейтенанта кругосветного плавания... Что же... не все морские офицеры у нас увлекаются лишь зуботычинами и линьками. Были среди них и люди, которыми Россия еще будет справедливо гордиться... Но это будет не скоро. Лет через сто...

Загоскин невольно подумал о людях, сковавших железное кольцо. Имена Бестужева, Кюхельбекера и других декабристов были готовы слететь с его языка. Но он решил промолчать.

— История народа нашего на просторах Восточного океана начинается еще там, в старинном Новгороде, — говорил редактор. — Идут удальцы на Двину, Мезень да Печору, а там и до Обского устья недалеко. Идут тундрой, плывут на кóчах под ветрилами кожаными среди ледяных гор... Ищут Теплое море, Индию синюю, желтое Китайское царство. Новгородцы, Строгановы, Ермаки, Атласовы и Дежнёвы — глядишь, уж и Америка открыта, самый дикий ее берег. — не мне вам про Аляску рассказывать! Вот где народ наш показал свой могучий дух! От Повгорода до Сандвичевых островов, от Обдорска до Юкона пролегли пути русского человека... Слава ему!

Расирощавшись с человеком во фланелевой куртке, Загоскин пошел в дом департамента корабельных лесов на Грязную улицу.

Приятель, знакомый еще по Каспию, бывший мичман, сказал Загоскину, что имеется свободная вакансия в Рязанской губернии.

— Вот если хочешь, то получай, — сказал приятель, подводя Загоскина к карте. — По размерам это целая Аляска. — Он указал на пространство между Егорьевском и Касимовом. — Вековые леса, озера. В общем — непроходимые дебри! Ты у нас нелюдим, живи в лесу, стреляй глухарей и надзирай за лесом... Да тебе и по другим причинам надлежит пожить подальше от шума столиц хотя бы некоторое время. — Приятель понизил голос. — Ну как — по рукам?



— Что же... я согласен.

Загоскин вышел из департамента, окрыленный надеждами. Кончилась скитальческая и бесприютная жизнь! В кармане его лежит назначение на службу. Он будет жить в тишине и одиночестве в просторах мещерских лесов. Теперь его не беспокоила даже потеря наследства и девяноста двух душ в двух сельцах Пензенской губернии. Свобода! Свобода, пусть даже зависящая от департамента корабельных лесов...





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

— Ну как, определились? — ласково спросил его человек во фланелевой куртке, когда Загоскин снова пришел к нему.

— Определился, — весело ответил Загоскин и с заметным волнением сказал: — Осмелюсь напомнить о своей рукописи.

— Да тут и напоминать излишне! — воскликнул редактор. — Повесть вашу я намерен печатать. Вы даже сами не подозреваете о том, что вышло из-под вашего пера. Давайте поговорим по существу. Все замечательно... Удивительно, что флотский лейтенант, привыкший лишь к заполнению вахтенного журнала, может писать таким слогом... Многие сочинители писали у нас о Кавказе, а кто до вас подумал о том, как показать русского человека на Аляске? Кавказ уже приелся — бурки, кунаки, кинжалы... А у вас все ново и свежо. И главное, все

необычайно. Необычайность эта не исключает правдивости. И людей вы видели, и сами делили с ними все радости и горести столь трудной жизни. Ваш индеец Кузьма запомнится многим. Не скрою — есть недостатки. Кое-где, особенно когда Кузьма рассказывает вам об убийстве белого, повесть похожа на переводную. Вам не кажется это? — быстро спросил человек во фла-нелевой куртке.

— Так это, очевидно, оттого, что я говорил с Кузьмой всегда по-индейски, этим совершенствуя свои познания туземного языка. И рассказ об убийстве мне пришлось как бы переводить с индейского. Я сам об этом думал, — добавил Загоскин.

— Тогда вполне допустим слог, о котором я говорю. Вообще же вы сделали большое дело. Дикари — и свершение подвигов во имя любви, чести, сознания долга! Русский человек идет один бог знает где и встречает истинную преданность. И гений Пушкина пробудил в вас искру, которая разгорелась пусть скромным, но заметным, присущим только вам огнем. Вы знаете направление моего журнала? Передо мной лежит статья о крепостном праве в России, о душе русского крестьянина. Вряд ли статью эту пропустит цензура. Вы еще далеки от мира литературного и не знаете, на что способны цензоры. В одном журнале было помещено письмо из Сибири; автор описывал езду на собаках. Цензор потребовал вычеркнуть это место. Когда

его спросили, чем вызван запрет, просвещенный полицейский ответил, что известие о езде на собаках должно быть подтверждено бумагой из министерства внутренних дел. Каково? — Редактор закашлялся. — Скоро, вероятно, — продолжал он, переводя дух, — потребуется подтверждение Третьего отделения о факте существования вулканов на Камчатке. К тому же вулканы — опасная вещь. Они часто находятся в извержении, вносят беспорядок в природу и могут вызвать опасные мысли о революциях, бунтах, пламени мятежей! К чему это я говорю? Если цензор не зарежет статьи о крепостном праве (она написана эзоповским стилем), я помещу вашу повесть рядом с этой статьей. И пусть читающая Россия увидит смелость, честь, благородство тех людей, которых мы высокомерно называем дикарями.

Если бы имя Рейналя не столь смущало цензуру, я выбрал бы из него цитату для второго эпиграфа к вашей повести. А к статье о крепостном праве я поставил бы эпиграф из Радищева... Но я и так красным фуляром своим дразню цензуру, как свирепого быка. Ждите! Повесть я не замедлю сдать в набор. — Редактор безмолвно подозвал к себе рабочего в железных очках и передал ему тетради Загоскина.

— Кстати о Радищеве, — промолвил Загоскин. — В Иркутске, в губернском архиве, мне посчастливилось найти бумаги о встречах Радищева с Шелеховым. Как все это знаменательно!

Восточный океан и Радищев, Рылеев, Пушкин... Я написал статью, но «Морской вестник» вернул мне ее, не объяснив причины...

— Как Радищев пугает их всех! Но верьте мне — и я в это верю, — через сто лет память об этих людях воспрянет в народе, как феникс из пепла. Не смущайтесь — вы, видимо, скромны, — но через сто лет вспомнят и о вас. Найдется человек, которого встревожит ваша судьба. И он прочтет то, что вы написали, перероет архивы всяческих ведомств, шаг за шагом пройдет за вами по сумеркам девятнадцатого века, в которых лежит великая истерзанная Россия. Я не честолобив, но я верю, что о всех нас вспомнят, в том числе и обо мне. Я наживал чахотку за этим вот столом, вы шли, открыв грудь аляскинской метели. Мы творили общее дело. Люди будущего отыщут наши могилы и украсят их цветами... Не только страницы книг, но мрамор, гранит и бронза поведают новому веку о делах и судьбах бедных, но великих детей России. На площадях будущих городов я вижу изваяния, залитые ярким солнцем, — Пугачев, Радищев, Пестель... Я вижу Пестеля с бронзовой веревкой на шее — живой укор прошедшему безжалостному веку. Я верю в пророчества Рейналя о веке Великих Республик. — Человек во фланелевой куртке снова закашлялся. — Что это мы — какой высокой материей занялись? — сказал он, отдышавшись и как бы стыдясь своих вдохновенных слов. — Давайте погово-

рим о сегодняшнем дне. Вы не из тех людей, которые наживают бобров, хотя на Аляске много их убили своей рукою. — Он снова кинул быстрый взгляд на холодную шинель Загоскина. — Когда вы еще определитесь по-настоящему в службу? Вам нужны средства... Пожалуйста, не отказывайтесь. Я могу частью оплатить вашу рукопись хотя бы сегодня. Вам совершенно нечего стесняться: вы получаете плату за труд, и за труд прекрасный.

Загоскин поблагодарил, но решительно отказался взять деньги.

Он думал, что возбудил в редакторе жалость к себе — всем своим измученным видом, холодной флотской шинелью со следами снятых эпидет...

— Не смею настаивать, — промолвил редактор. — Во всяком случае, вы должны помнить, что всегда можете получить здесь свой гонорар.

Он поднялся с места, прошел в дальний угол комнаты и возвратился со стаканом, наполненным чистой водой.

— В свинцовой пыли и духоте, — сказал он, наклоня прозрачный стакан над горшочком с цветком, — живет это нежное и хрупкое создание. Оно помогает мне в работе: глядя на него, я забываю о многом. Живет, дышит, ловит каждую частицу света, которая проникает сюда. Я слышал, что Марат очень любил цветы. Пожалуйста, только не подумайте, что я сравниваю себя с Другом народа.

Загоскин смотрел на этого человека и внутренне восхищался им. Святая злоба и нежность, горькая улыбка и огромная душевная мягкость угадывались в нем. «А ведь, пожалуй, цветок переживет его», — подумал Загоскин, видя, как человек во фланелевой куртке кутает горло в красный фуляр и заходится надрывным кашлем так, что кажется: у него вот-вот хлынет горлом кровь...

— Жаль, что цензура, конечно, заставит выпустить это место. А хорошо бы вставить в повесть упоминание о Рылееве. Вы говорите, что он поддержал в Российско-Американской компании проект Владимира Романова, тоже будущего декабриста, об экспедиции в глубь материка Северной Америки и к северу — до Гудзонова залива? Эти люди ничего не боялись. А Завалишин? Он предлагал правительству завязать торговые отношения с негритянским государством в Вест-Индии и готовился быть первым послом России у чернокожих республиканцев... Каково!

— Когда я вернулся с Юкона усталым и больным, я просил главного правителя разрешить мне поездку в Калифорнию... Знаете, что мне сказали? Бывшему лейтенанту Загоскину нечего делать там, где еще недавно бывший мичман, а ныне ссыльно-каторжный Завалишин пытался устроить республику, которую он называл Страной Свободы. Русскую крепость Росс на реке Славянке, что в Калифорнии, про-

дали какому-то проходимцу. Я боюсь, что со временем все продадут. Покупатели найдутся... Я счастлив был бы, если бы моя повесть хоть немного заставила задуматься над судьбой наших земель в Америке.

— Кто будет думать? Нессельроде, что ли? — махнул рукой собеседник. — Да он вашего Кузьму не задумается продать кому угодно — хоть богдыхану китайскому, если захочет. Знаете, что сделал Нессельроде? Король Фердинанд Испанский по природному тупоумию своему просил российское правительство взять у него всю Калифорнию в обмен на несколько военных кораблей. Наши от Калифорнии отказались... Булгарин и Толстой — Американец, даже эти разбойники и хриstopродавцы вкупе с Вигелем не могли скрыть своего возмущения «благородным» отказом от Калифорнии... Все, все в угоду чужим королям, министрам, плантаторам. Так уж повелось. Не дали русскому человеку протянуть руку черным и желтым народам. Через сто лет разберутся во всем этом!

Загоскин взглянул на часы.

— Куда это вы торопитесь?

— У меня есть еще важное дело в Российско-Американской компании. Разрешите попрощаться...

— Заходите ко мне... Сейчас я погляжу в свои записи, в какой книжке журнала пойдет ваша повесть... Материал уже размечен по

книжкам. Так... назначено на июль. Если будете в столице раньше лета, заходите без стеснения в любое время. Скоро вы можете просмотреть корректуру сами.

Человек во фланелевой куртке поднялся с места. Солнечный луч, пронизанный голубоватой свинцовой пылью, упал на него. Он стоял в этом луче — порывистый, оглядывающий как бы весь мир большими и скорбными глазами.

— В дебрях российских — во всех Рязанях, Пензах, Калугах — зреет зерно будущего века Великих Республик. Любите народ, присматривайтесь к нему. Пока это скованный Прометей. Он гнет спину над чужим посевом, тащит лямку бурлака, долбит нерчинскую руду и забывается в прекрасных и грустных песнях. Но придет время, и народ наш пойдет впереди народов всего мира.

А мы смертью, гибелью в петле оплачиваем судьбе кабальный вексель на бессмертие народа, ибо мы — его часть...

Вы говорили об архивах... Ломоносов думал об этом также... Бесценные свидетельства о великой славе отчизны и народа скрыты в темных недрах, и чиновники, как сказочные драконы, стерегут эти сокровища. Да хоть бы берегли! А главное, что мы не знаем зачастую даже приближенно содержание архивов. Может быть, лет через сто мы утвердим свое право на гордость родной историей, осуществим мечты

наших предков. А ведь они мечтали о многом. И не только мечтали, но и свершали. Но где планы зодчих, карты путешественников, чертежи механиков, дневники мореходов?

В глубоком раздумье шел Загоскин по улицам столицы и не заметил, как поравнялся с большим домом, фасад которого был украшен лепным двуглавым орлом. Он невольно остановился у окон нижнего этажа, прикрытых темной литой решеткой. На чугунных цветах и стеблях лежал неровный снег. Здесь жил когда-то Рылеев!

Он поднялся наверх и отыскал комнату, где продавали гербовую бумагу. В круглом зале Загоскин написал прошение в главное правление Российско-Американской компании о дозволении вдове ремесленного Таисье Головлевой оставить пределы колоний за выслугой лет и престарелостью. Средства для пропитания Головлевой, так же как и плату за проезд ее в Россию на кругосветном корабле, обязывается предоставить он, не имеющий чина бывший лейтенант Загоскин.

Правитель канцелярии, подняв брови, прочитал прошение, посмотрел с удивлением на Загоскина и поставил в углу бумаги какую-то длинную закорючку.

— Я думал, вы опять насчет золота изъясняете! — облегченно вздохнул чиновник. — А вдова что! Это можно... Все равно — к вам или в богадельню... Вносите деньги... Бумага

будет отправлена в Ново-Архангельск, в апреле пойдет из Охотска.

На следующий день Загоскин зашел в редакцию и смущенно изложил просьбу о деньгах человеку во фланелевой куртке.

— Так я вам вчера же предлагал! — удивился тот. — А вы не брали.

Загоскин объяснил, на что ему теперь нужны деньги, и добавил, что еще вчера он не был уверен в том, отпустят ли Таисью в Россию, а теперь все уладилось.

— Извольте, извольте! Благое дело затеяли. — Редактор придвинул гостю пачку ассигнаций. — Здесь ровно половина гонорара. По выходе книжки в свет я вам немедленно выплачу остальное. Да идите скорее в Компанию, а то они еще раздумают. Зачем вы меня благодарите? Вы получили за свой труд. Давно бы так...

И редактор снова склонился над столом.





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Пылающий ружейный пыж падает на сырую землю. Он горит, дымится и не скоро гаснет. Добыча трепещет в кустах. На шее птицы блестит, как красная слеза, густая капля крови, а другая капля виснет на конце раскрытого клюва. Утренний туман припал к корням деревьев, от кустов тянет сыростью и тленом, а ноги скользят по сгнившей листве. Сверху она еще морщинистая и желтая, а внутри — жирная и черная, как сажа. Кругом такие просторы, что выстрел долго не может их обежать. А тишина! Кажется, будто от звука выстрела вдребезги разлетится стекло озер — так недвижна их поверхность. Она все время меняет цвет; озерная гладь представляется человеку то темно-голубой, то розовой, то вдруг покрывается жемчужной пеленой, как будто невидимый великан склонил уста над водными зеркалами и затуманил их своим дыханьем!

Человек идет по лесам, тонким низинам, холодным берегам озер. Он раздвигает руками ветви лозняка, на которых, как зеленые свечи, горят готовые раскрыться почки.

Первый утренний ветер чуть затрагивает верхушки ветвей, и они свистят, колышутся. Загоскин бредет тропинкой вдоль рощи молодых деревьев, едва передвигая ноги, сапоги его облеплены глиной и прошлогодними листьями. Рязанские леса обступают его, меццерские озера плывут в розовом дыму, и алое солнце торжественно поднимается над зубчатой стеной леса. Он входит в высокие и безмолвные дебри, где чешуйчатые сосны поднимаются до самых облаков.

Загоскин оглядывает огромные деревья. Они станут когда-нибудь кораблями, и соленая вода морей будет тяжело биться о корабельную грудь. Сейчас они живут своей сокровенной жизнью; в огромных деревьях бродит сладкий сок, но толстым стволам струятся горбатые потоки смолы, и муравьи осторожно обходят их. Сейчас лишь зеленые вымпелы хвои трепещут на вершинах деревьев, но настанет день, когда паруса, наполнившись ветром, зашумят на скрипучих мачтах.

Деревья стояли вокруг сумрачным и торжественным хороводом. Проворные векши шумели на зеленых ветвях, нарушая безмолвие леса. Сюда часто забредали лоси. Загоскин не раз замечал обитые их рогами ветки и клочья

лосиной шерсти на цепких кустарниках. Заго-скину не нужна была карта для того, чтобы знать новые места. Лишь только сошел снег — он отправился в первые странствия. Он узнал, где берет начало Пра — лесная река с водой, красноватой от болотного железа. Он видел семь братьев-озер, соединенных между собой протоками, тонул в Радовицких болотах, проходил на легкой лодке по мелким лесным речкам. На юге — Спасск, на востоке — Касимов, Елатьма, Ерахтур, к западу — древняя Рязань. Между ними раскинулась Мещерская страна — вся в легких туманах и свечении озер. И Егорьевск, и Касимов, и Темников жили добычей корабельного леса. Недаром в гербе касимовском были изображены судовые кокоры; Елатьма издревле славилась парусной холстиной. По Оке на больших баржах-гусянках вывозили отсюда мачтовый лес.

По ночам в Мещерских лесах светятся сгнившие деревья; черная вода утомленно лепечет, льнет к огромным корягам; большие рыбы плещутся в озерах так громко, что кажется, будто кто-то ударяет по воде серебряной лопатой. Бесшумные совы носятся над темными соснами, выпь гулко стонет в болотной трясине.

По глухой тропе, спотыкаясь об узловатые корни, пробирается Филатка, сбжавший от злого барина. Железное яблоко кистеня тускло блестит в его руке... Деревенский колдун с белой

бородой, раскрыв ведовскую книгу, написанную на бересте, бормочет заклятья и отсчитывает шаги. Двадцать, тридцать, сорок... Через пятьдесят шагов от белого камня в земле должна лежать ржавая плита, а под ней — котел с золотом. Тонкая свеча в руках старца освещает бороду, исступленные глаза, берестяные листы.

Такими предстали перед Загоскиным дикие Мещерские леса.

Он поселился в большом казенном доме в лесу. Высокие горницы с некрашеными полами, сосны за окнами, студеный родник на опушке леса. Чего еще надо вечному страннику? Из Пензы он перевез все свои пожитки — книги, коллекции, собранные в Русской Америке. Рабочий кабинет он устроил в самой большой и светлой горнице с видом на проселочную дорогу. В этой комнате на стенах висели морские карты, большая карта Аляски, которую Загоскин сам чертил, планы Ново-Архангельска и форта Росс. В углу стояли длинный индейский лук с тетивой из сухожилий оленя, копье и ружье с привязанными к стволу высушенными вороновыми когтями. Праздничные маски индейцев и пестро раскрашенный шлем воина с Кукокквима, одежда с узором из игл дикобраза — целый музей разместился в кабинете по соседству с книгами, чертежами и рукописями.

Однажды Загоскин вынес из амбара



какой-то длинный предмет, обшитый старой парусиной, распорол ее и с волнением осмотрел резной столб — подарок Кузьмы. Не повредился ли он во время долгих перевозок? Но краски были по-прежнему яркие, дерево высохло, стало еще крепче, чем раньше. Загоскин поставил столб в правый угол горницы. Теперь Великий Ворон оглядывал комнату багряными глазами. Загоскин хотел сохранить в своей памяти все, что касалось его похода на Квихнак. Из шкуры убитой им рыси он сделал чучело, утвердив его в другом углу кабинета. Письмо — рисунок на бересте, — которое прислала ему Ке-ли-лын, он заботливо заключил в рамку и повесил над огромным некрашеным столом, за которым работал.

— Хорошо у вас как, барин, только страшно что-то, — говорила ему Марфа, молодая вдова лесника, приехавшая для работы по дому. У нее были темные глаза, губы цвета рябиновых ягод и высокая грудь. — Птица ваша больно страшна, очи вещие у ней! — Марфа показала рукой на резного ворона. — Страшно ночью у нас, а особо мне одной, — томно вздохнула Марфа. — Ни души кругом, одни сосны разговор ведут. Разбойника Филатку наемни среди бела дня у родника видела. Да вам опасаться нечего — вон сколько ружьев у вас. А мне одной... — Женщина взглянула в глаза Загоскину и лукаво рассмеялась: — Хоть и ученый барин, а недогадливый! Ну, хочешь, приду

сегодня, как стемнеет? — Марфа прильнула к нему и закрыла глаза.

Повинуясь безотчетному порыву, Загоскин прикрыл ладонями ее ресницы и ощутил на ладонях порывистый трепет. Она поцеловала его в губы. День показался ему нескончаемо долгим...

— Ну, так-то оно лучше, — говорила поутру Марфа. — Без нашей сестры не проживешь. Только вот птицы твоей боюсь: все кажется — на меня глядит. А что мне сдается, барин, ты ночью со мной не по-русскому во сне говорил — вроде как на татарский лад. И таково чудно мне стало... Ну что ты молчишь, желанный мой?

Загоскин подошел к Великому Ворону и снял с него цветной платок Марфы.

— Никогда этого больше не делай, слышишь? — сказал он сквозь зубы и уселся за стол, уткнувшись в свои бумаги.

— От страху я его закрыла. Ай нельзя? Ну, не буду больше, — растерянно сказала Марфа и, накинув платок, вышла из горницы.

— Непонятный, ох, непонятный барин, — подумала она вслух и пошла к роднику за водой.

Служба доставляла много хлопот Загоскину. В корабельных лесах процветало воровство. Уездное начальство — касимовское, егорьевское, темниковское — давало купцам за огромные взятки фальшивые билеты на вывоз

древесины. Крали все — лесники, объездчики, подрядчики. Загоскину пришлось учредить чуть ли не военный пост на устье Пры, где он жил неделями, осматривая барки с лесом, пропуская только казенные.

— Не пойму-с, о чем вы хлопочете? — спросил раз Загоскина один из его помощников, седой отставной поручик. — Да разве это кража? Россия — государство обширное, и лесов в нем даже больше, чем нужно. Удивляюсь я вам. Лес — дар природы, не подчищать его, так он все города и поселения задушит, и люди превратятся в дикарей, уподобятся вашим индианам и прочим... А сколько леса горит зря... Извольте видеть сами, какие пожары бывают. Не сгорит — сам повалится и сгниет. Кому какая от этого польза? — спрашивал поручик.

— Все это так, а воровать я не дам, — твердо сказал Загоскин. — И лес неустановленного образца прекратите отправлять...

Пожары в лесу случались здесь часто. Бывало даже и так, что по целым неделям ущербное солнце едва светило сквозь облака гари, а в воздухе носились черные хлопья. В такие дни становилось нечем дышать. В лесной дали роились то красные, то синеватые огни. Горы алых углей лежали на полянах; от них тянуло зноем. Завалы горячего пепла долго не остывали. Люди тогда жаждали дождя.

— Благодать, — сказала как-то Марфа, когда Загоскин возвратился из леса. — Ливень

какой у нас прошел! Хоть дышать теперь стало чем!

Вокруг все сияло от влаги, крыльцо казалось белым, по стеклам окон стремились сияющие потоки.

— Пакет вам почтарь привез,— сказала вдогонку Загоскину вдова.— С красными печатями. По примете, если какое дело затеять при начале дождя, так оно всегда удачей окончится.

Пакет был из столицы. Редактор журнала извещал, что листы корректуры давно готовы, книжка журнала находится в печати и хорошо, если автор проглядит набор сам. Загоскин улыбнулся. Письмо пришло очень кстати. В Петербург все равно надо было ехать с отчетом о вывозе леса.





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Рязань встретила Загоскина шумом базарного дня, мучной пылью, покрывавшей булыжники мостовой, звоном колоколов и скрипом телег. И если в Пензе существовали номера «Бразилия» с бильярдом и органо́м, гусарами и купцами, то здесь была гостиница «Эстремадура». В ней было все то же, что и в «Бразилии», но к бильярду и гусарам нужно было прибавить еще хор тощих цыган, надрывавшийся по вечерам в большом зале, расписанном дешевыми фантастическими видами. В просторечии гостиница эта звалась «Страмотурой» и пользовалась славой разгульного места. Здесь на Загоскина уже не смотрели как на диковину, потому что теперь он числился прибывшим всего-навсего из Егорьевского уезда.

Коридорный внес в номер обед, взятый в ресторации, кипящий самовар и связку кренделей.

— Не желаете ли «Ведомости»? — спросил

он. — У нас первоклассная заведения. И «Ведомости», и орган. Что только вам желательно — есть.

— Неси...

Загоскин стал просматривать газетный лист. Вдруг он вскочил, прошелся по комнате, потом, как бы не веря своим глазам, еще раз прочитал заметку. В Калифорнии открыто золото! Долина Сакраменто сделалась приютом для бродяг всего мира. Вот уже полгода, как длится золотая лихорадка. Поселение Сан-Франциско покинуто жителями — все устремились к золоту. Матросы бегут с кораблей, индейцы уходят с промыслов и плантаций.

Люди оставляют свои семьи на произвол судьбы, идут в золотую Калифорнию, гибнут на перевалах хребта Сиерры. Но при чем здесь несколько раз упомянуто имя капитана Саттера? «Известный Саттер» — так его называла газета.

Загоскин помнил рассказ о продаже русского форта Росса в Калифорнии. Шесть лет назад неизвестно откуда появившийся авантюрист — «шут гороховый», иначе его в Ново-Архангельске и не называли, — швейцарский немец, капитан швейцарской гвардии, купил земли русской крепости. Он вывез с Сандвичевых островов несколько сотен канаков, учредил поселение Новая Гельвеция, посеял хлопок, посадил пальмы и бананы.

Саттер начал торговлю с Ново-Архангельском, и аляскинские капитаны рассказывали о

том, как «шут гороховый» успел завести даже собственную гвардию, обрядив всякий сброд в долгополые зеленые кафтаны. На месте русской крепости, где столько лет жил герой Северной Калифорнии барановец Иван Кусков, швейцарский капитан хотел построить стойла для племенных быков. Еще тогда «шут гороховый» стал быстро богатеть. Начальству Русской Америки пришлось заискивать перед Саттером — ведь он сделался единственным, самым ближним поставщиком припасов для Аляски.

Обо всем этом с возмущением говорили в Ново-Архангельске все те, кому еще дорого было русское дело за океаном. Но почему сейчас газета упоминает о Саттере?

Загоскин вызвал коридорного и приказал ему принести все номера газет, какие только сохранились в «Страматуре». Малый вскоре вернулся с известием, что последние газеты отданы в цыганский хор на папильотки, а старые не сохранились.

— Неси хоть папильотки, все клочки газетные тащи сюда, а то сам возьмусь — хуже будет! — сказал Загоскин коридорному и для убедительности тряхнул его за плечи.

— Постараемся! — крикнул слуга, вырываясь из объятий постояльца.

Малого долго не было. Наконец он вернулся с пачкой газетных листков.

— Извольте, — сказал он, протягивая листки издали, — остальные у цыганок в волосах.

— Пошел вон, дурак!

Загоскин выхватил из рук малого листки и принялся их разглядывать. Это была какая-то мешанина! Оборванные на половине объявления о продаже лошадей и крепостных, театральные анонсы, хроника, указы о наградах и производствах, банковские отчеты. Он терпеливо раскладывал листки, переворачивал на другую сторону. Нетронутый обед давно остыл, самовар перестал шуметь, а Загоскин все продолжал свое занятие. Пересмотрев все листки, он узнал о главном: золото в Калифорнии было найдено на землях Саттера. Значит, «шуту гороховому» были проданы сокровища, к которым жадно устремился теперь весь мир!

Загоскин скомкал листки и выкинул их в плевательницу. Осмотревшись, он увидел еще один газетный обрывок на полу. Он поднес обрывок к глазам и прочел всего три слова: «Рахижан» и «...золотой табакеркой». Эти слова были набраны разными шрифтами — первое более крупным, остальные помельче. Очевидно, это был отрывок из списка наградений, который обычно печатался в официальной части «Ведомостей».

Остаток дня Загоскин употребил на бесцельные прогулки по Рязани. Он даже не помнил в точности, где успел побывать.

Очнулся он от своего забытья у древних монастырских стен. Перед тем как покинуть это уединенное место, Загоскин хотел впитать в

себя тишину. В ней он находил силы для жизни — беспокойной и трудной. Здесь было так тихо, что слышался даже шорох крыльев стрижей, пролетающих над звонницей. Задень стриж концом крыла зеленую медь — и слабый шепот колокола стал бы внятн в такой тишине.

Загоскин опустилс на землю и долго лежал в густой траве, разглядывая рогатых жуков и красноватых муравьев, хлопотливо таскающих сухие былинки. Он внезапно рассмеялся, вспомнив разговор с полицейским в Пензе.

— Естествоиспытатели! — подумал он вслух. — Муравьиная полиция, индейское ополчение, зачатки тюремных понятий у древних славян, продажа крепости спекулятору, золотая табакерка невежде — голова кругом идет... Хоть бы через сто лет с этим разобрались и покончили навсегда. Долго ли рахижань будут нюхать табак из золотых табакерок? Да почему табакерка? Рахижан табака не нюхает, и вдруг ему табакерку подносят, да еще по высочайшему повелению. Это он за мой Юкон, верно, получил. А может быть, за что-либо другое... Он мне, помню, хвастал, что вместе с отцом Яковом писал трагедию о смерти отца Ювеналия. Наверняка у Кукольника слог переняли или у Коцебу... Так нюхай, Рахижан, если приказали! А моя съемка Юкона к каким-нибудь Саттерам уплывет. Он еще, чего доброго, сам в Ново-Архангельск припожалует и за рюмкой хереса с правителем обо всем договорится...



ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Размышлениям подобного рода Загоскин предавался и по дороге в столицу, где он поспешил зайти прежде всего в департамент корабельных лесов. Старый товарищ встретил его приветливо.

— Здорово ты там лесные дела разворошил, — сказал бывший мичман, радушно усаживая Загоскина в удобное кресло. — Весь лес — отменного качества, уже на верфях и частью в постройку пошел. Только на тебя жалобы есть. Конечно, неофициального свойства. Очень круто ты взял — понимаешь сам, о чем я говорю. От природы всему живущему лишь выгода; от одного цветка кормятся не только пчелы, но и всякие другие живые существа... И никому обиды нет, и все весьма мудро устроено...

«Да что они — сговорились, что ли? Этот

тоже натуралист какой-то, — подумал Заго-
скин, внимательно разглядывая собеседника. —
Нет, я попробую до конца не уступать. А усту-
пил раз — и пропал.

— Счел долгом дружески тебя предупре-
дить: многих ты привел в раздражение
лишними строгостями. Господа дворяне двух
уездов на тебя ополчились и могут здорово
насолить. И все это уже на тебе отразилось. Лес
ты отлично заготовил и за это вполне достоин
поощрения. Но... вряд ли ты получишь наград-
ные. Управление департаментом — дело слож-
ное, величественное, я бы сказал. Соображе-
ния — превыше всего, они — закон, Мойсеевы
скрижали, с той только разницей, что все
объемлют. Перед ними мы пигмеи... Касимов-
ский уездный заседатель прекрасно все это
знает, и он на тебя уже строчит доносы о том,
что ты якобы допускаешь лесные пожары...
И пойми: вдруг сии соображения повелят мне
для примера отдать под следствие двадцать под-
чиненных? А донос-то тут как тут, расправляет,
как коршун, крылья. И хотя я знаю, что ты
лучше других сберегал леса, я склоню голову
перед мудростью соображений, если они после-
дуют, и друга своего, не имеющего чина Лаврен-
тия Алексева Загоскина, — под суд! Там уже
дело не мое — там губернские власти поста-
раются. А касимовский заседатель в губернии
свой человек... Подумай, Лаврентий... Да
куда ты? — Бывший товарищ дружески про-

тянул руку, но она осталась висеть в воздухе.

«А ведь редактор, пожалуй, мне сейчас много новостей насчет Калифорнии расскажет, — думал Загоскин. — Он иностранную печать получает. В Компанию заходить не буду — ну ее к черту». Он решительно повернул в сторону от Мойки, куда было направился.

— Долгожданный гость явился! — Человек во фланелевой куртке поднялся из-за стола навстречу Загоскину. — Загорели в рязанской своей Америке! Вооружайтесь пером и читайте оттиски вашего труда! Кое-что я почистил, подправил; если с моим пером не согласны — скажите прямо. А так — еще раз говорю: вещь преразамечательная получилась!

Загоскин с волнением, присущим всем людям, видящим свое творение отпечатанным на бумаге, пахнувшей свежей краской, взял кипу оттисков с уже размеченными страницами.

— Про золото в Калифорнии что слышно? — спросил он глухо.

— Много слышно, слишком много, — откликнулся редактор. — Последние новости таковы. Этот швейцарский капитан остался один в поместье: все бросили его и ринулись к золоту. Форт Росс переходит из рук в руки, его занимают по очереди толпы бродяг. Какие-то сектаторы, прибывшие из Америки, нагроулили золотом телеги, отвезли их к Соленому озеру и строят там свой город. Где нашли золото впер-

вые? В горах, не очень далеко от Росса. Плотник Маршал — это имя повторяет теперь весь мир — первый увидел золотые зерна. Наши газеты как воды в рот набрали, никаких напоминаний о том, что золотые земли — бывшие российские владения. Но в газетах иностранных, особенно немецких, злорадствуют...

Когда продали форт Росс, русские не все ушли оттуда. Некоторых из них видели под знаменами Калифорнийской республики. Калифорния еще пробовала быть независимой, но сейчас Соединенные Штаты считают ее своей... Где же теперь эти русские повстанцы?

— И раньше бывали случаи подобных инсurreкций¹, — сказал Загоскин. — Так, один русский промышленник из форта Росс однажды бежал в горы, увел за собой индейскую голытьбу и повел жизнь действительно какого-то Разина или Пугачева. Немало поохотились за ним конные испанцы... О том, что с ним стало, я не знаю. Прохор Егоров его имя. Он разорял испанские миссии и убивал жандармов короля испанского...

— А что вы слышали об условиях продажи русской крепости этому Саттеру? Как об этом говорили тогда на Аляске?

— Что же? Дело несложное, — угрюмо ответил Загоскин. — Запросили с него гроши. Платить Саттер не торопился. Да и вряд ли что-

¹ И н с у р р е к ц и я — восстание.

либо уплатил... Выходит черт знает что! Крепость продали, деньги пропали, золотой клад отдали даром! Но все очень подозрительно. Перед тем как отправиться в Калифорнию, Саттер посетил Ново-Архангельск. Я тогда отсутствовал — был в командировке — и подробностей не знаю. Носились слухи, что он перед тем основал в Гонолулу какую-то Тихоокеанскую компанию... Очень темное дело. Боюсь утверждать, но мне кажется, что уже тогда до Ново-Архангельска доходили кое-какие русские сообщения о признаках золота в Калифорнии. Мне кажется, что убийца креола Савватия каким-то образом был связан с Саттером. Но у начальства, как водится, были «соображения». — Он хмуро улыбнулся, вспомнив разговор в департаменте корабельных лесов...

— Сейчас нам трудно восстановить истину, — сказал редактор, разглядывая горшочек с померанцем. (Зеленый кустик, с тех нор как здесь побывал в последний раз Загоскин, успел вытянуться на добрую четверть.) — В рязанских дебрях вы окружены цветами, зверями, птицами... Я часто мечтаю о жизни в лесу или над рекой, где луга покрыты незабудками. Видели ли вы когда-нибудь отягощенный росой ландыш? В нем воплощена благоуханная прелесть жизни. Вот почему я так берегу своего питомца. Но в грозные годы вряд ли возможен идиллический образ жизни... Читали, что делается в Европе?

В это время раздался резкий звонок. Дверной колокольчик долго дрожал. Он дернулся еще раз — уже после того, как наборщик отправился открывать двери подъезда.

— Что это? — сказал редактор, медленно поднимаясь с места и застегивая на все пуговицы фланелевую куртку. — Симфония, столь привычная для русского слуха! Верьте, — быстро шепнул он Загоскину, — все это отголоски событий в Европе. Эта музыка должна усыплять все то, что может пробудиться в России. Чудные звуки, как они знакомы мне!

Звон шпор приближался к дверям... На пороге появился офицер в голубом мундире и в каске с султаном. Он брезгливо оглядывал комнату. Сзади него толпились жандармы.

— Потрудитесь занять места и не менять их, пока не последует дозволение! — сказал каким-то утомленным голосом офицер и подошел к столу. — Попрошу не дотрагиваться до бумаг и печатных приборов. По распоряжению начальника Третьего отделения имею целью прервать вашу деятельность и наложить запрет на дальнейшее печатание.

Он предъявил соответствующую бумагу, а затем полез в карман голубого мундира и извлек медную печать и сургуч. Один из жандармов услужливо подал свечной огарок и ровно нарезанные куски бечевки. Офицер старательно разложил все это на столе. Двуглавый орел тускло мерцал на кружке печати. Офицер молча при-

двинул к себе чернильницу и перо и стал что-то писать. Но тому, как он медленно и ровно выводил заглавные буквы, видно было, что он любит свое дело.

— Но это насилие! — громко сказал редактор.

Жандармский офицер прервал писание и поднял на него глаза. Загоскин увидел, что жандарм — уже пожилой человек с дряблыми постарчески щеками и рыжими усами; один ус короче другого.

— Все это слова и слова, господа сочинители, — глухо сказал офицер, прикрыв глаза большими, очень выпуклыми веками. — Я вас в Петропавловскую крепость везти не собираюсь. Просто налагаю запрет на вашу деятельность и беру для осмотра бумаги. Какое тут насилие? Сведущие, вполне образованные люди исследуют ваши бумаги, решат и, если в них ничего не содержится, отдадут вам обратно. А вы за это время отдохнете, с мыслями соберетесь. Несомненная польза для здоровья. — Офицер осторожно придвинул к себе оттиски повести Загоскина и положил на них белую перчатку.

— Не бережете здоровья своего, — с укоризной сказал офицер. — Какой ущерб от всевозможных воспарений! Свинцовая пыль, краска, согбенное положение тела при писании, порча органов зрения, дыхательных путей. Ежели завести статистику о причине смертей сочинителей, получится довольно грустная картина...

Редактор молчал. Замолчал и офицер. Жандармы за его спиной дышали, как лошади. Офицер провел левой рукой в перчатке по краю стола.

— Чистейший свинец! — жандарм показал почерневший палец. — Сочинители сами укорачивают свою жизнь, а ропщут на корпус жандармов. Если бы мне позволили, я устроил бы все к общему благу. К чему в империи существует так много различных изданий? Один перевод свинца, порча здоровья, неприятности... Следовало бы выпускать одни «Главные полицейские ведомости» с прибавлениями по части литературы и наук, в различных выпусках, для образованных сословий. Польза была бы неизмерима. И к сочинительству надлежало бы допускать только людей отличного здоровья, пригодных к прохождению воинской службы. Распишитесь под протоколом... вот здесь... Весьма благодарен...

Офицер ловко перетянул бечевкой листы набора с повестью Загоскина и зажег сургуч. Горячая лава упала на бумагу. Жандарм медленно размазал сургуч и опустил на него печать. Двуглавый орел распростер на бумаге острые крылья.

— Чем, однако, вызвано запрещение? — спросил человек во фланелевой куртке, не глядя на офицера.

— Господин министр по докладу Ценсурного комитета остался недоволен статьей о кре-

постном праве,— объяснил офицер.— Кроме того, в сочинении Лажечникова об индейцах...

— Загоскина,— невольно поправил редактор.

— В сочинении об индейских племенах господин министр усмотрел призыв к неподчинению верховной власти.

Загоскин и редактор напряженно слушали, что скажет офицер дальше.

— Господин Лажечников...

— Загоскин,— снова сказал человек во фланелевой куртке.

— Путаю я всегда этих сочинителей — оба историей увлекаются. Так у господина Загоскина описан случай свержения какой-то девицей начальника над дикарями. Нельзя. Пусть подобный случай даже и произошел. Но зачем его выделять? Вот если бы описать, как дикари молятся всевышнему за здоровье царствующего дома...— Офицер мечтательно вздохнул.— Заговорился я с вами, господа,— сказал он и передал сургуч унтеру, прибавив: — Опечатай приборы. Офицер поднялся со стула и потянулся за бумагами, лежащими в конце стола. Вслед за этим раздался глухой стук — на пол упал горшок с померанцем. Офицер задел его эфесом сабли.

— Какая жалость!..— сказал он растерянно.— Я ведь сам садовод... *Citrus vulgaris*...¹

¹ Цитрус обыкновенный (лат.).

Редактор стоял не шелохнувшись. Красные пятна горели на его щеках. Цветок лежал на полу, была отчетливо видна сеть тонких белых корней в черных комьях земли.

— Прискорбная случайность,— промолвил сокрушенно жандарм, склоняясь над цветком и трогая черепки концом сабли.— Помочь ничем нельзя-с. Стебель сломан... Хрупкое создание...

— Кончайте скорей свою церемонию! — крикнул редактор, отворачиваясь к стене. На нем лица не было. Плечи тряслись под фланелевой курткой.

Когда все бумаги, станки, шкаф были опечатаны, жандармы ушли, унося с собой кипы бумаг.

— Вы знаете,— сказал редактор Загоскину, зябко кутая горло в красный фуляр,— российские жандармы владеют какою-то тайной... Безусловно, они знают основы животного магнетизма, месмеризма или чего-либо вроде этого. Подумайте только, добродушный по существу пожилой человек в каске с султаном внушил мне ужас — мне, прочитавшему тысячи книг, мне, знающему наизусть «Фауста»... И этот цветок, и рассуждения о торжестве полицейской печати! Это ужасно!.. — Редактор хрустнул пальцами.— Вряд ли мне дадут умереть спокойно. И как страшно ощутить — пусть на мгновение — раба в себе!..

Загоскин молчал. Знакомая черная завеса возникла перед его глазами. «Не везет. Как не

везет мне! — подумал он. — Правитель и Рахижан украли материалы, а теперь рухнула последняя надежда рассказать людям о том, что ты думал, что мучило тебя. Ворон — судьба... Но все ли потеряно? Могу ли я еще бороться?» — уже спокойно решал он про себя.

— Я очень многим обязан вам, — сказал Загоскин редактору. — Разрешите крепко пожать вам руку. Оставляя вас, льщу себя надеждой, что вы вспомните меня в трудную минуту... Я помогу вам, если это будет нужно. — И он вышел из редакции поспешно и решительно, сутуля плечи и опустив голову, но весь полный решимости вести борьбу до конца.





ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Он вошел в подъезд министерства, поднялся по обитой коврами лестнице, проследовал по сияющей глади паркета и остановился у дубовых дверей приемной. Высокая особа была занята, приема у нее пришлось ждать более часа.

Наконец глухая дверь распахнулась, и Загоскин увидел в глубине комнаты сухого, изможденного человека со звездой на груди. Он был так мал и сух, что звезда казалась больше, чем его лицо. Важная особа встретила Загоскина радушно, пригласила занять место напротив себя.

— В отставке? — спросил сановник, показывая перстом на мундир Загоскина. Бриллианты сверкнули на груди особы.

— Разжалован, — ответил тот, бледнея.

Загоскин привык к тому, что вслед за этим

вопросом обычно следовал второй — о причинах разжалования. Он приготовился к возможно спокойному ответу.

— О чем просите?

— Ваше высокопревосходительство! Выслушайте меня. Во время похода по Русской Америке я открыл на реке Квихпак золото. Этому не придали должного значения. Пагубный пример продажи форта Росс в Калифорнии иностранцу вынуждает меня просить милостивого вашего внимания к делу о юконском золоте. Припадаю к стопам... — заключил Загошкин, внезапно вспомнив о том, что есть такое выражение для обозначения крайней зависимости от лица повелевающего.

— Напрасно, любезнейший, — промолвил сановник, по-старчески шаркая ногами под столом. — Припадают лишь к стопам монарха, а я — только его слуга. Про золото в Америке мне уже докладывали. Изъясните коротко о своем открытии.

Сановник, прикрыв глаза, выслушал Загоскина.

— Ничего поделать не могу, — сказал он спокойно. — Ради выгоды империи об этом золоте следует молчать. Калифорния объята беспорядками — именно открытие золота вызвало их. Объявив о золоте на Аляске, мы ввергнем колонии в трудности и не сможем удержать их под своею властью. Не просите... Считаю ваше сообщение государственной тай-

ной. За известие благодарю, но вместе с этим приказываю и молчать...

«Напрасно! Все напрасно... — думал Загоскин. — «Припадаю к стопам»!.. Экое выражение подлое, эскуторское какое-то. Спокоен сановник, — видно, еще павловской выучки. Ничем не прошибешь...» Он поднялся с места.

— Необъятность диких земель, — заговорил сановник, — трудности управления, близость владений других наций — все это приведет к тому, что мы можем утратить наши владения в Северной Америке. — Он вынул осыпанную алмазами табакерку и отправил в ноздри большую понюшку. — Ваше рвение достойно похвалы, но рвение это напрасно. Прошу вас не уходить совсем, а обождать немного в приемной...

Загоскин вышел из кабинета. Через несколько минут к нему подошел важный, похожий на журавля секретарь и протянул небольшой голубой конверт.

Загоскин раскрыл его уже на улице. Краска стыда и обиды покрыла его щеки. В конверте лежали две двадцатипятирублевые ассигнации и записка:

«Слово — серебро, а молчание — золото. Эполеты когда-нибудь вернешь. Прими деньги из фонда вспомоществования нуждающимся лицам благородного сословия...» Далее стояла подпись, как бы извлеченная из архивов восемнадцатого века.

«Ишь какие лаконизмы Фридриховы для прикрытия хамства,— думал Загоскин.— Подачки стали совать». Он, спотыкаясь, шел по булыжникам Сенатской площади.

— Помогите, господин, раненному при Наварине! — сказал одноглазый нищий, висящий между двумя скрипучими костылями.

— С какого корабля, служба? — спросил Загоскин.

— С «Гангута», ваше высокоблагородие,— ответил инвалид.— Командиром Авинов были. С турецкого корабля ядро... половину ноги отхватило.

Нищий с явной симпатией оглядывал старый флотский мундир Загоскина. А тот уже совал в руку инвалида две ассигнации, полученные от сановника.

— Ваше высокоблагородие!.. Отродясь таких денег в руках не держал!.. Покорнейше благодарим!.. Ох ты, господи!.. Видит бог, свечу поставлю Николе Чудотворцу... Как в молитвах прикажете поминать? — бормотал инвалид, но Загоскин уже быстро удалялся от него.— Неведомого флотского помяну! — выкрикнул вслед Загоскину нищий и стал завязывать ассигнации в грязный клетчатый платок.





ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Осень, червонная и теплая осень пришла в Мещерские леса. Пауки спускались на сияющей паутине, казалось, с самого неба и проворно сучили лапками, перелетая серебряно-голубые пространства. Небо стало холодное и ясное. Листья золотели с каждым днем. Рыбы недвижно стояли возле подводных коряг, еле шевеля пламенными перьями плавников. Птицы готовились к зимовке. Слабый ветер передвигал легкие листья и сваливал их в овраги. Листья — желтые, почти белые, багряные — ползли, как сплошной покров, по земле. Рябиновые гроздья пылали в светлых чащах, яркие пичуги раскачивались на рябине, лениво ссорясь из-за добычи. Торжественный свет спокойного солнца блуждал по соснам, и они казались бледно-алыми до половины стволов.

Вода озер стала еще чище и студеней, мох на

болотах поголубел. До заморозков было еще далеко. Загоскин бродил по лесам с ружьем за плечами. После большой душевной встряски он снова чувствовал потребность в покое и уединении. Он блуждал по кустам, окутанным паутиной, легкие лопасти кленовых семян падали ему на плечи, если птицы не успевали их перехватить в воздухе.

Однажды Загоскин возвратился домой поздно, когда свет луны и тень от листвы перемежались на лесной дороге. В окне кабинета горела одинокая свеча; видно было, что за ней никто не смотрел, и она оплывала. Марфа сидела на крыльце дома и смотрела на лес и родник, игравший при свете луны. Загоскин неслышно подошел к Марфе и обнял ее. Она испуганно вскрикнула, отшатнулась и задела рукой за холодный ствол ружья.

— До какой поры ты бродишь, барин, — сказала она с укоризной. — Заманят тебя к себе русалки али леший куда заведет... А тут сидишь одна и день и ночь; тоска гнетет. Да и не любишь ты меня. Кабы любил — жалел бы. А то намерении коробейник приходил, а ты мне так ничего и не подарил — полушалок али там еще что. Не от корысти какой мне это надобно, а чтобы видела, что любишь. Каменный ты какой-то, барин; жизнь у тебя нелегкая была. И ты против других — человек отменный... Таких жалеть надобно, вот я тебя и жалею. — Марфа прильнула рябиновыми губами к небритой щеке

Загоскина.— Спать я постелила, вот все сижу да жду тебя...

— Иди спи! — сказал Загоскин.— Я еще посижу.

Он зажег новые свечи в кабинете и занялся работой. Он писал заметки о Мещерской стране, о ее курганах, кладах, развалинах древних городищ. В одном из могильников он нашел куски янтаря и океанскую раковину, просверленные посредине; их носили в ожерелье. Он размышлял о путях, которыми пришли сюда варяжский янтарь и раковина Индийского океана, и не заметил, как в комнату вошла Марфа и, что-то шепча, стала ложиться спать.

Среди ночи Загоскин услышал какой-то шорох под окном. Он распахнул раму и увидел босого мужика в рубахе из холста и домотканых портках. В правой руке он держал кистень.

— Прости, ради Христа, барин, если напужал,— сказал мужик.— Да ты не больно пугливый. Я тебя в лесу сколько разов видал — идешь, не боишься ни зверя, ни человека. Сколько разов мы с тобой едва не встретились. Я зверя в твою сторону гнал — не знаю только, примечал ли ты. Лисицу я намерен в кустах поднять у Черного лога. Такая шерсть на ней, ровно огонь! — Мужик улыбнулся и переложил кистень в левую руку.— Ты не сумлевайся,— успокоил Загоскина мужик.— Нешто мы не понимаем, если человек правильный бывает? Спасибо тебе за хлеб-соль. Прихожу к роднику,

вижу — па бережку что-то белеется, наполовину лопухом прикрыто. Глянул, а там хлеба изрядный ломоть. Мне один старец сказывал, что в сибирской стороне для нашего брата, разбойника, полочки возле изб понаделаны и на полочки жители кладут харчи. Я так на тебя и помыслил, как хлеб увидел...

Филатка-разбойник помолчал, погладил темную бороду и огляделся по сторонам.

— Мужики, которые лес рубят,— промолвил Филатка,— говорят, что правильней тебя человека здесь не найти. Вот я и рассудил — схожу к тебе ночью и поговорю о своей беде. Лежу я часто в овраге и гляжу на твои окошки — они чуть не до зари светятся. И мне вроде как веселей. Одно только прозвание, что разбойник. Вот вся моя снасть тут.— Филатка показал на кистень.— А разве им от зверя, который поважнее, оборонишься? Какая это, к бесу, оборона? Я, как у барина в егерях был, много всякого оружия перевидал. По моей судьбине — так мне штуцер полагается, а я с одной этой колотушкой хожу. А ты ведь и взаправду, барин, меня не боишься,— улыбнулся Филатка.

— Я тебе зла никакого не делал,— объяснил спокойно Загоскин и поглядел в угол, не проснулась ли Марфа.— Грабить у меня нечего, вот я и не боюсь. Слушай, Филат, почему ты от барина сбежал?

— Барин — зверь, на всю Тамбовскую и на

здешнюю губернию прослышан. Жену мою сна-
сильничал. Жена с позору утоилась, дите оста-
лось, померло, — тихо сказал мужик. — Я в
барина стрелял на охоте, да сгоряча забыл, что
ружье бекасинником заряжено. А в него, черта,
надо было девять картечей медвежьих вса-
дить. — Филатка длинно и злобно выбра-
нился. — Ну, убег я и стал от людей про-
зываться разбойником. Ловят, как зверя, и
живу, как зверь.

— Чего же ты от меня хочешь?

— Яви, барин, божескую милость. Же-
лаешь, на колени стану? Лесами на Муром про-
берусь, оттудова — на Волгу, а она, матушка,
укроет. Уйду в понизовье к староверам. Мне
старец показывал все пути-дороги по тайной
берестяной книге. А с голыми руками мне не
идти. Вот и молю — дай какое ни на есть
ружьишко! Зарок тебе дам, землю съем на том,
что в человека стрелять не буду. А леса, где мне
идти, темны да страшны. От зверя оборонюсь,
дичи на пропитание достану, жив останусь.
А как только укроюсь, кистень заброшу и о раз-
бойничьей жизни забуду... Зря на меня говорят,
будто я лес поджигаю. Лес — он для всех.
Пушай его растет...

Загоскин глядел на Филатку, на его измож-
денное лицо, освещенное луной и от этого казав-
шееся голубым. Рассказ разбойника о том, как
он потерял семью, напомнил чем-то судьбу
индейца Кузьмы. Загоскин подумал о том, как

схоже сложилась жизнь двух людей, живущих в разных половинах земного шара.

— Хорошо, Филат,— сказал он после некоторого раздумья.— Ты, говоришь, егерем был? Много всяких ружей знаешь?— Он взял в руки ружье, из которого был когда-то убит креол Савватий.

— Всю жизнь прожил бы, а такого ружья не добыл бы,—с восторгом сказал разбойник и положил кистень на подоконник.— Дозволь, барин, погляжу. Отменное ружье, аглицкое...— Филатка погладил черной ладонью скользкий ствол.— Заряжено?

— Да...

— Дай-ка примерюсь...— Филатка бережно взял ружье в руки.

Полированная сталь замерцала при луне. В тишине щелкнул взведенный курок. Загоскин не отошел от окна.

— Отважный ты, однако, барин! — Мужик, сильно прижав курок сверху большим пальцем, давил указательным на спуск.— Разные люди есть, и разные случаи бывают. Вдруг — я к примеру говорю — палец у меня с курка сорвался или на меня какое мечтанье нашло? — Филатка оскалил крупные зубы. На голубом лице светились белки глаз, темных и неподвижных, волосы его, казалось, поднялись дыбом. Так продолжалось несколько мгновений.— Для нас все бары одинаковы,— сказал Филатка.— У тебя али у отца там крепостные поди тоже



есть. Мне, может, в твоей жизни разбираться и некогда. Я за твоей душой прийти мог. Но меня не бойся,— промолвил он уже спокойно, наклоня дуло ружья к земле. — Вишь оно как — не сорвался палец-то. Пулей заряжено?

— Да... Обожди, не уходи. Чем же, однако, ты в лесу кормишься?

— Ягоды да грибы... На тетерок, глухарей силки делаю. Огонь кресалом выбивал. Кормился, да не дюже.

Загоскин вспомнил о том, как умирающие глухари клевали ему руки, как он пил их кровь, когда шел один по Аляске.

Он открыл ящик стола и достал из его глубины — один за другим — пять зарядов.

Вот береженье жизни моей вышло! ... в восторге сказал мужик, вынул из-за пазухи кисет и побросал в него заряды.— Слушай, барин. За Давыдовым болотом медведь громаднейший бродит — уж который день. Матерый медведь, весь в ренях. Он поди там и зимовать метит. Ты его проведай хорошенько; будешь со своей бабой медвежатину есть, меня вспомнишь. Ну... а случаем, если поймают меня,— конечно, не выдам. Но крайности скажу, что в окно влез да и украл... Поверят! Нешто видано где, чтобы господа разбойникам ружья давали? Ну, прощай, барин... Вовек не забуду! — Филатка вдруг снял с шеи медный крест.— Возьми, не побрезгуй,— сказал он почти шепотом.

Загоскин принял из его рук потемневшую бисерную цепочку.

Филатка поклонился Загоскину в пояс, вскинул ружье и ушел, раздвигая серебряные кусты.

Загоскин захлопнул окно и опустил задвижку.

— Сидишь, Лаврентий Алексеевич? — раздался сонный голос Марфы. — Поблázнило мне, никак, али во сне — будто ты говорил с кем-то?

— Спи, это я сам с собой...

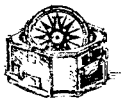
— Во сне видела, будто я в полушалке малиновом али в медынской шали цветастой... К роднику иду, а серый волк на меня из-за куста как прыгнет...

— Спи, спи... Не мешай мне — я еще своих дел не закончил.

— Всегда ты, барин, вот так, — пролепетала Марфа, вздохнула и заснула вновь.

Свечи уже оплыли. Вставлять в канделябры новые Загоскин не хотел. Он долго сидел при лунном свете и думал о Ке-ли-лын, Кузьме, перебирал в памяти события жизни на Аляске. Вспомнилось железное кольцо, которым он обручился с индианкой. Какой путь совершило кольцо! Теперь он отдал Филатке ружье. Пуля, вылетевшая из него, прервала жизнь креола. Потом ружье по-иному стало служить Ке-ли-лын, Кузьме и самому Загоскину. Сколько пальцев лежало на тугом, холодном спусковом крючке!

Утром он долго лежал с открытыми глазами и припоминал сны. Белые горностаи, льдины, громкие ручьи, нескончаемые снега, по которым он когда-то бродил, вершины заоблачных гор, парты из мамонтовой кости — вот что снилось ему в осенние ночи. И он со знакомым ему и раньше чувством безграничного умиления перед природой думал, что он счастливый человек. Все это он видел и наяву: судьба даровала ему жизнь странника. И особенно запомнился сон: в светлой тундре протянулась до самого горизонта четкая цепь следов горностаия. Снежная пустыня была необъятна, но упорный зверек пробежал ее всю. Солнце поднялось к нему навстречу, встало над снегами, и следы горностаия стали нежно-розовыми. Они были ровными, зверек не остушился нигде — на своем пути к солнцу!





ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В то утро Загоскин слышал заливистый звон колокольчиков. Лес как будто содрогался от звона, и в каждой ветви нарастал и долго держался напряженный звук.

— Становой поди скачет... Али в Сибирь кого везут, — сказала Марфа. — Ежели становой — то за Филаткой, скорее всего, гонится.

Но это был не становой, не фельдъегерь, а почтовая тройка. Она внезапно вылетела из-за поворота. Кони медленно перебирали ногами, идя на натянутых вожжах, когда повозка спускалась в лощину. Медные бляхи шлей светились на солнце, лошади выгибали шеи, касимовские колокольцы звенели уже прерывисто. Почтальон в поярковой шляпе сидел на кожаных тюках, поставив между колен длинное ружье. Из-за его огромного тела был плохо

виден еще кто-то, сидящий в повозке. Лошади вдруг остановились напротив лесного дома.

— Господин Загоскин кто здесь будет? — громко спросил почтальон Марфу и, услышав ответ, сказал, обращаясь к невидимому седоку: — Ну вот и приехала. Счастливо оставаться. Подумать только, какую дорогу совершила... — Почтальон покачал головой, посторожился, из-за его спины выглянуло широкое лицо пожилой женщины. Она медленно слезла с повозки и отошла к обочине дороги, разминая ноги.

— Таисья Ивановна! Вот когда я тебя дождался! — крикнул Загоскин из окна. — Сейчас, сейчас выйду... Марфа, встречай гостью!

Кони вздрогнули, взяли с места, и раздался такой звон, как будто кто-то рассыпал тысячи серебряных горошин.

— Ну вот и я, Лаврентий Алексеич, — сказала Таисья Головлева, ставя дорожный некрашенный сундучок на белое крыльцо. Она перекрестилась, поклонилась дому, потом подошла, обняла Загоскина и затряслась в беззвучном плаче. — Скрозь весь мир проехала, не счесть, сколько морей проплыла, уж и не чаяла с тобой свидеться. А видишь, оба живы, встречаемся, словно вчера только расстались. Дай-ка я оглянущу всю видимость: ведь мне здесь и помирать. — Она выпрямилась и осмотрелась вокруг. — Сосны, ручей!.. Тишина какая против Ново-Архангельска. Там море шумит да вороны

проклятые гомонят. Гляди, благодать какая! — улыбнулась она сквозь слезы. — Вроде как на Америку и сходственно, а все не так — сосны совсем другие, солнце не то. А как петухи в селах кричат, страсти! Известно, родная сторона, лучше ее нет... Уж, кажись, сколько земель видала, а краше этой не нашла...

— Каким путем плыла, Таисья Ивановна?

— Да где мне знать? Правда, боцман корабельный уж очень обходительный был, все объяснял. На берег с матросами не раз съезжала. Место проходили, где Баранов в море погребен... Ну, да я еще расскажу об этом.

— Выходит, вокруг мыса Доброй Надежды шли?

— Вроде как по-твоему... Чего только не повидала! Рыбы, как птицы, летают... А в одном месте в самый полдень, в ужасную жару, видели над морем белую метель. Снегу там никогда в жизни не бывает. Что бы ты думал? Цельное облако бабочек ветром отнесло от какой-то жаркой земли. Они, бедные, корабль весь облепили, паруса — как снегом осыпанные. И так, милые, и плывем. Море спокойное, и в нем вся эта белизна да красота чудесная отражаются.

— Ладно, все по порядку расскажешь, Таисья Ивановна. Марфа, собери на стол, гостью потчевать будем.

— Живете? — строго спросила Таисья Ивановна, когда Марфа ушла на кухню. — Что же, ваше дело молодое. Только в законе надо... Ты

бы меня еще в Ново-Архангельске послушал, мучениев-то меньше бы у тебя было.

— Ты это про что?

— Сам знаешь, Лаврентий Алексеич. Уж извини меня, я тебя за сына считаю и «ты» говорю. Про те дела поговорим после. Много я тебе новостей привезла. И не одни радостные, не думай. Ну а без горя свет не стоит... Как тебя благодарить — не знаю. Доживать свой век сюда приехала. Тенерь я тебе не чужая, до скончанья тебе предана. Уж так вышло — никого ближе у тебя нет. Молодка-то это? Поживет да уйдет... Одна я тебя не оставляю...

Втроем сидели они за самоваром. Бутылка гавайского рома стояла на столе.

— Вокруг всего света обошла! — говорила старуха, взяв в руки бутылку, чтобы подлить рому в чай. — Привыкли мы к этому на Аляске... Подкатила-то я к вам — ровно становой пристав, с колокольцами. А как? Почтальону да ямщику в Рязани на постоялом дворе такую бутылку выставила. Вот, говорю, вам заморский пенник. Они и удивились: откуда, мол, такая тетка? Я им и объяснила, что прямо из Америки. Ну, люди простые, говорят: «Садись, домчим куда угодно...» Только все удивлялись, что издалека...

Марфа исподлобья разглядывала гостью, сжав губы. Она больше молчала. Молчание это и упорное разглядывание вывели Таисью из себя.

— Ты что как мышь на крупу надулась? — накинулась гостья на молодую вдову. — Знаю я, что ты думаешь. Мыслишь ты, что, мол, жила за барином, а тут из-за семи морей нагринула какая-то вроде свекрови. Ты за свою судьбу не бойся, ты за него бойся. — Таисья Ивановна указала на Загоскина. — Если любить взялась, то люби, а не мудрый над таким человеком. А начнешь мудровать, то я хуже всякой свекрови буду. Поняла?

— Как не понять, Таисья Ивановна, очень даже все сознаю, — смиренно ответила Марфа и вздохнула.

— Ну а теперь, Лаврентий Алексеич, пойдём. Разговоры у нас свои начинаются, — сказала Таисья Ивановна. — Погоди, только в супдучок свой загляну. Письмо я тебе привезла.

— Письмо? От кого же это?

— Потерни, все узнаешь. Еще тебе сержант Левонтий кланяется. Ох, бедняга, будет ли жив — не знаю... Ну, чего я раньше времени говорю? Про всех, про всех расскажу по порядку... Дай с мыслями собраться. Ты в большой горнице будешь? Ну, я сейчас приду туда.

Загоскин уселся за сосновый стол в кабинете и стал разглядывать варяжский янтарь.

— Вот какую я памятку привезла об Александре Андреиче Баранове покойном... Хочешь, себе возьми, а нет — так я сама сберегать буду. — Таисья Ивановна вынула из узелка каменную ветку красного коралла. — К Прын-

цеву острову мы за водой заходили; командир всех матросов выстроил и говорит: вот, мол, ребята, здесь в море опущен был усонный первый герой русский в самой Северной Америке, Александр Баранов... Шапки все поспимали... А местность какая пречудесная! Огромные острова зеленые с двух сторон, меж ними проток широкий, а в нем Прыщев остров и стоит. А кораллы-то, кораллы! Грядками лежат, каждая гряда разная — белая, черная али алая. Вспомнила я тогда Александра Андреича и прослезилась. Какой человек был! В Ново-Архангельске он по первости в панцире железном ходил. Мне все мнилось — в панцире он и похоронен, ровно Ермак. Господа офицеры на корабле узнали, что Баранов мне был отлично знаком, и покоя не дали — все просили, чтоб я о нем рассказывала. Песню я им спела, что Александр Андреич сам сложил: «Ум российский промыслы затеял...» Песню всю, от слова до слова, списали... Вот человек был! А представь себе, Лаврентий Алексеич, ведь он с простой индианкой жил, от нее детей имел. Сына его, Антипатра, я очень хорошо даже помню... — Таисья Ивановна стукнула веткой коралла по столу. — А тебе бы для науки у чиновников по бумагам дознаться надобно, куда Антипатр девался. Может, он и сейчас жив. Его в Россию на кругосветном корабле отправили. Взял его с собой капитан Головнин. С тех пор об Антипатре слуха нет. Однако, я думаю, в Калуге

искать его надо. Там господин Яновский жил, зять Баранова. Не к Яновскому ли Антипатр прибился? Ежели Антипатра разыскать, многое от него можно узнать. Он и про мать свою расскажет. Барановскую необыкновенность сейчас не многие помнят. Живых-то свидетелей мало. Отпиши в Калугу градоначальнику — пусть Антипатра сыщет... Чернявый был Антипатр — в мать... Любил его Баранов... Сколько он через индианку эту принял горя! — продолжала она, вертя коралл в своих больших морщинистых руках. — Они, значит, не венчаны были, ну, попы-то наши к нему придирки всякие строили. Индианка у него вроде как в услужении стояла и прозывалась «кортомной» девкой. В «кортоме» быть — вроде как за проданную слыть, — объяснила она с глубоким вздохом. — Так в старое время у нас люди и поступали, обходились, как могли. Неужто ты не понимаешь, Лаврентий Алексеич, к чему присказка эта? А сказку вот изволь: через Кузьму и мне все ведомо насчет твоей дальней индианки, а Лукин еще кое-что порассказал. Вот получи да читай. — Она протянула Загоскину лист грубой бумаги. — Это Лукин пишет.

Загоскин принялся читать старательно выведенные высокие буквы.

«Господин Загоскин, — писал набожный креол из Колмаковского редута, — сие письмо, должно быть, тяжело расстроит ваше сердце, ибо в нем содержится огорчительная весть. Но

бог всемогущ, и, испытывая нас несчастиями, он дарует нам вслед радости и утешения. По делам скуки мехов и святого крещения я был на Квихнаке, в селении, именуемом Бобровый Дом. Кротость вашей души, твердость воли, презрение к опасностям, совершенные вами подвиги пробудили в сердцах дикарей должную любовь к вам. Провидение привело мои пути к колыбели младенца, матерью которого была возлюбленная ваша. Услышав из уст моих о таинстве святого крещения и почитая его за непреложный обычай для всех русских людей, индианка сама попросила меня дать русское имя ее младенцу, вашему сыну. Дочь индейского народа показала мне кольцо, коим вы были обручены с нею. Умиленный ее словами, я крестил младенца и нарек его Владимиром, в память святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Сама мать младенца уклонилась от приятия крещения, говоря мне, что не может оставить своей веры или, как мне сдается, вредного заблуждения языческих племен. Но ради вас и вашего сына индианка приняла столь великое и трудное для нее решение о крещении младенца. О том, что обряд над вашим чадом свершен, я написал свидетельство и оное выдал для вечного хранения матери и свидетелям таинства. Год тому назад я был поражен печальнойю вестью, ее и спешу вам передать. Мать младенца умерла от поветрия оспы; малолетний Владимир остался жив и

ныне находится на попечении одного из индиан по прозвищу Одноглазый. Кольцо ваше будет храниться у сего восприемника и опекуна до тех пор, пока нареченный мною Владимир не достигнет совершенных лет... Не сомневаюсь, что во всей жизни вашей, полной мужества, вы почерпнете утешение от горя. Кроме того, прослышал я, сколь вы претерпели несправедливых утеснений и ноносительства от сильных мира сего. Но помните: в главе седьмой Евангелия от Матфея сказано: «...Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обравившись, не растерзали вас...»

Может быть, вам, возвращенному в нынешней образованности, не нужны будут утешения простого креола и вы со снисходительной улыбкой прочтете слова святого писания, но я почитаю долгом своим привести их.

Из новостей, кои должны волновать ваш ум, сообщаю, что известный вам креол Дерябин из Нулатовской «одиночки» проник вверх по Квихпаку и достиг тех мест, коих и вы не достигали. Думаю, что недостойная зависть к счастливому продолжателю не посетит сердца вашего. Вместе с вами радуюсь тому, что теперь уже громко сказать должно: Квихпак — Юкон тож — исконная российская река, обретенная нашими общими трудами...

Еще огорчу вас вестью о безвременной смерти Глазунова, которого вы изволили знать.

Он отправился для новых обретений в глубь страны, но по плохому усмотрению начальства не был снабжен должным провиантом и погиб в пути. Тело его нашли бродячие индиане и представили в Ново-Архангельск. Лекарь Флит, сделав потрошение тела Глазунова, сказал, что желудок его содержал лишь одну сосновую кору. Так, вдали от родины своей — цветущих кущей калифорнийских, — погиб в снегах Аляски во имя служения российскому народу отважный креол Глазунов, один из славных товарищей незабвенного Баранова. Вечная память, вечная слава скромному трудолюбцу.

О новостях в Ново-Архангельске объяснит вам Таисья Ивановна, подательница сего письма. Желаю вам счастья и благополучия...»

Загоскин ходил по большой горнице, несколько раз перечитывал письмо Лукина. Смерть Ке-ли-лыи, рождение сына, опекунство Одноглазого... Все это совершалось теперь так далеко от него, и ему не верилось, что он сам был в Бобровом Доме, что были годы, когда он боролся за жизнь, убивал зверей, шел, проваливаясь в снег, под неистовыми огнями северного сияния.

Загоскин пытался поставить какого-то другого человека на свое место, взглянуть его глазами на свою судьбу. Что бы делал этот человек

в его положении? Как странно было бы ему узнать о смерти Ке-ли-лыи!

Привыкший стыдиться даже перед самим собой многих своих чувств, Загоскин часто мысленно подменял себя вымышленным лицом и старался переложить на него всю тяжесть жизни. Так бывало с ним в самые трудные мгновения.

«Вот она, способность не меняться в лице! — подумал он. — Недешево стоит!..»

— Таисья Ивановна, а про Кузьму что же ты мне не говоришь?

— И до него очередь дойдет, — ответила старуха. — Подумай-ка лучше — твоему Владимиру Лаврентьевичу третий годок идет. — Ее широкое лицо осветилось улыбкой. — Глаза ноди у него светлые, а волос темный. Что поделать? Мать, бедную, не вернешь, а тут — живая жизнь растет. Может быть, ты когда с сыном-то и свидишься... Да только вряд ли, — вздохнула она. — Знаешь, год от году слух все больше и больше проходит, что начальство отступаться от Российской Америки хочет. Не знаю, верить этому али нет. Ропот в людях идет насчет форта Росс: как узнали, что мы там свое золото немцу продали, так русские люди и огорчились. Все промышленные, не таясь, о Россѣ жалеют. Сколько уже за ропот этот Кааистрат на Кекур сволок. А всех туда не перетаскаешь... Как покидала я Аляску, так что-то у меня сердце все ныло... Перед тем как собраться, пошла я к

Эчком-горе, взяла щеноть земли да сшила ладанку. Поглядела на гору в последний раз с корабля и заплакала... Мужнюю могилу нелегко покинуть. А сколь там русских могил? Не сочтешь! Сколь русских родилось... А начальству что?.. Да, забыла совсем. Расскажу, как бедный сержант Левонтий едва жизни не лишился и сейчас у лекаря Флита живет на призрении. Плечо разворотило, руку сломало, да не знаю, остались ли ребра целы. Душевный человек сержант, мы его не сразу с тобой поняли. Помнишь, как он под окошком тебя караулил?

— Помню.— Загоскин невольно улыбнулся, вспомнив сержанта, его нос чижиком, лучики морщинок около глаз.— Что же с ним такое случилось?

— Из-за отца Ювеналия изувечился. Вот тебе крест. Ювеналий, жеребец долгогривый, погиб не своею смертью, бог знает когда, а сержант за него отдулся... С тех пор как Ново-Архангельск стоит, я такого дела еще не видывала. Отец Яков главным заводилой был. Под самым Кекуром на плацу устроили представление во имя святого мученика Ювеналия. Одного байдарщика, росту высоченного, обрядили Ювеналием, крест животворящий в руки дали, и он по плацу ходит, проповедует слово божие. А кругом его — страшные индиане, каких во всей Аляске, наверно, и не было никогда. Впереди их Калистрат, в перья обряжен, глазами

ворочает, рычит, как зверь. И так, нечистая сила, страшен, а тут он еще страхолюдней был. Я его потом долго во сне видела.

Ну вот, отец Ювеналий все что-то индианам объясняет; они в ответ рычат, пляшут, а команду им подает с Кекура господин Рахижан. Индиане, конечно, никакие не дикари, а служилые да промышленные, только все ряженые, словно на святках. Ювеналий стал на колени и творит молитву. Дикари его копыями ширяют, за бороду дергают, а он кротость показывает. Тогда вдруг Калистрат в образе главного убийца подбегает к Ювеналию и предает его окончательной смерти. А в это время раздается ужасный гром, все дикари падают наземь, и происходит небесное знамение. Чтобы гром изобразить, сержанту Левонтию приказали пушки двойным зарядом набить. Сержант начальство упреждал, что орудия старые, но его не послушали. Ну, единорог медный, который еще Барановым поставлен, с лафета сорвало, а наш Левонтий, бедный, — как снои на землю! По мне, такое представление — посмеяние святой веры... Говорят, что преосвященный про эти затеи узнал, когда в крепость вернулся, и сильно гневался, посохом даже грозил Рахижану. А Калистратка как именинник ходил и морду долго не мог отмыть — так она у него расписана была. И смех и грех. Лукин в ту пору в крепости был; он на плацу откровенно сказал, что отец Яков не дело, а срамное игрище затеял.

Не знаешь — плакать или смеяться... Ну, чертешный Рахижан — тот хоть из персиян, ему над верой нашей надругаться положено, а почему отец Яков за это взялся? Не иначе как из гордости...

Таисья Ивановна помолчала, пристально взглянула на Загоскина и улыбнулась.

— Ну, вот теперь ты и про представление знаешь... Не все подряд про печаль говорить... А тревога какая была, когда в крепости дознались, что ты во второй раз в дальний поход ушел, не спросясь ни у кого... Сержант сказывал, что правитель сгоряча погоню хотел за тобой снарядить. Да куда там! Кто бы согласился в такую даль на зиму идти... Кузьму, бедного, потом сколько разов на Кекур таскали, но он на тебя ни слова не сказал. Сержант говорил — он через Калистрата знает, — что Кузьму все насчет золота допытывали. Но я тебя знаю — тебе никакого золота не надобно, такой уж ты бессребренный человек. Вот что я вспомнила! Узнать хорошо бы, когда Кузьму да Демьяна Бессребреников поминают...

— Сейчас я тебе скажу все очень точно, — сказал Загоскин и выдвинул ящик стола, где хранились его бумаги. — Ты не пугай только меня, Таисья Ивановна. Скажи прямо — случилось что-нибудь с Кузьмой? Зачем ты помянуть его хочешь?

— Нет, батюшка, плохого ничего не случилось...

Загоскин отыскал в бумагах знакомую книжечку в малиновом переплете и начал ее перелистывать.

— Козьма и Дамиан, Таисья Ивановна, дважды в году именинники — первого ноября и первого июля... Как хочешь, так и считай. В ноябре — день Козьмы и Дамиана Бессребренников, а в июле просто Козьмы и Дамиана. Как же так получается?

— Уж не нам это судить. Так от святых отцов установлено. Жив, жив твой Кузьма, праведный индианин. Нешто это святцы у тебя? Тогда погляди, когда празднуют Левонтия да Владимира, а свой-то день поди и сам помнишь.

— День мой в августе, да только я его много лет не праздновал, а надо бы... Гляди-ка, Таисья Ивановна, как именины-то собрались — в одном июле и Кузьма, и Леонтий, и Владимир...

— Вот как хорошо-то... Мы с тобой сразу всех и вспомянем. Хорошо это, когда у человека свой праздник заведен для радости.

— А раньше всего мы твой день встретим, Таисья Ивановна: восьмое октября не за горами... И весело встретим, не все нам печалиться.

— Что о старом помнить! Жить надо, Лаврентий Алексеич. Мне — конец свой скóрить, а тебе — жить да жить. Подумай только, тебе и сорока лет нет еще, а на седой висок свой ты не гляди. Живи и не гнись, как и раньше не гнулся.

Только вот ты с индианкой сплоховал. Надо было тебе ее в крепость везти да ко мне определить, вроде как для услужения. Ну и жили бы невенчаные, если она креститься не желала. И как еще жить-то можно было! Ну да что поделаешь...

— Судьба, Таисья Ивановна,— ответил тихо Загоскин и показал на Юконского Ворона.

— Боже ты мой! — воскликнула Таисья Ивановна. — Сразу-то и не разглядела со встречи да разговоров! Ведь это тот самый идол, что Кузьма соорудил? Для памяти бережень?

— Для памяти...

Загоскин вдруг незаметно снял какой-то небольшой предмет, подвешенный на темной бисерной цепочке к гвоздю, вбитому в столб.

— Да, у каждого — своя судьба,— вздохнула Таисья Ивановна.

Загоскин протянул руку к книжке в малиновом переплете. Медный крест унял на стол.

— Вроде как бы не твой,— сказала Таисья Ивановна, увидев крест.

— Так... Подарок... — отрывисто ответил Загоскин, пряча крест в стол.

— Теперь остается про Кузьму рассказать тебе. — Таисья Ивановна вытерла глаза углом платка. — Плачу я оттого, что люди такие еще есть на белом свете. Ах, Кузьма, Кузьма, правильный какой индианин! Ты только подумай, что он ради друга сделал, на что пошел... Прежде объясню, как он от меня отчество полу-

чил. Я — в годах, да и он не молод, Кузьмой как-то вроде и неловко его называть. А отчества у него и нет, как у повокрещена; пришлось самой придумывать. Мужа покойного Сидорычем величали. Вот я и объяснила все дело Кузьме, спрашиваю: «Хочешь, ты у нас Сидорычем будешь?» Он, ты знаешь какой, сразу не ответил, дым трубочный пустил и мне отвечает, что, мол, если такой обычай русский не плох, то он отчество принимает, ежели только за этим к поцу не надо идти. Страсть он их не любил! Ну и стал сразу он у меня с отчеством.

Сначала долго привыкнуть не мог, а потом откликаться стал. И меня он по имени-отчеству обучился величать, только у него как-то чудно получалось, не выговаривал по-полному-то... Жил он у алеутов в казенной бараборе, на промысла ходил и очень старательным считался. Чуть смелое дело какое надо совершить — передовщики сразу уверяют: «Никто, как только индиганин Кузьма Сидорыч на это способен...» Особо он любил на китовый бой в море выходить, лучше его гарцунера и не было. А по городу он, как и раньше, с рогатиной ходил. Только он замечтался, заскучал, все о тебе вспоминает. Ко мне завертывал часто... То ложку, из дерева вырезанную, принесет, то какую вещь по хозяйству сделает — руки-то у него ведь золотые — и долго-долго со мной говорит — и по-русскому, и по-индейскому, — сколь я их речь понимаю малость... Все тосковал он, бедняга,

детей своих вспоминал, говорил, что один как перст на свете. «Что ж, — утешаю его, — выходит, судьба такая, Кузьма Сидорыч. Вот, мол, и я одна-одинешенька осталась». Посидим да погорюем, вместе-то лучше... Хорошо его в крепости все узнали. Даже Калистратка-толмач с ним страсть как обходителен стал. А для чего? Начальство видит, какой это индианин удивительный, и стало так решать: мы, мол, его немножко теперь приласкаем и покажем всем, как дикого индианина к русской жизни обернули... Любят у нас, страсть любят чужими руками жар загребать!

Но Кузьму не купишь. Он мимо Калистрата пройдет и от его богомерзкой рожи отвернется... Так и не удалось им Кузьму Сидорыча обернуть ни к чему — ни к плохому, ни к хорошему. А тут как-то Лукин с этими вестями печальными объявился. Смотрю, Кузьма затуманился совсем. Потом попросил у меня сухарей наготовить, еще кое-что ему раздобыть для дальнего пути, а зимой наш Кузьма, мне одной сказавшись, подался к индианам...

— Куда же он пошел? — спросил Загоскин.

Янтарь, который он держал, выскользнул из пальцев и мягко засветился под лучами спокойного солнца.

— Ты его лучше меня знаешь — поди догадешься, — сказала старуха. — У него путь один, одна дороженька. — Она залилась счастливыми слезами. — «Пойду, — говорит, — на

Квиxнак-реку, где русского тойона сын возра-
стает». Уж на такого человека положиться
можно, до скончанья не оставит, раз взялся.
И я бы ребенка взяла, да Кузьма в таком деле ни
за что не уступит. Вырастет сын твой, знать
будет все про себя, кто его отец, а самое
главное — что он русской крови. Кузьма Сидо-
рыч, когда во мне уверился, рассказал и про
золото в той стране. Теперь и тебе меньше сум-
леваться надо. Не захотело тебя начальство слу-
шать, рот тебе заткнуло — правда твоя к сыну
перейдет, в пародѣ поселится, и тогда ее, правду
эту, не захоронишь. Вот тебе весь сказ мой...
А что это такое у тебя на столе — медового
цвета? Страсть как приглядно!

— Янтарь, — объяснил Загоскин. — Ви-
дишь, какое дело. В незанамятные времена по
деревьям, каких сейчас и в помине нет, текла
смола. Потом деревья умерли, как умирает все
на свете, а смола окаменела и легла в землю. Вот
это и есть янтарь. Какие-то древние люди, наши
предки, сделали из янтара ожерелье. Человек,
который носил на шее янтарь, умер. Его похоро-
нили в кургане. Через много столетий я вскрыл
курган и взял янтарь. Теперь он лежит на моем
столе, просвечивает на солнце. А эту раковину
наши предки тоже носили в ожерелье, и пришла
она сюда из тех мест, где водится коралл, кото-
рый ты мне привезла...

Таисья Ивановна с уважением, присущим
многим простым людям, когда им рассказывают

о вещах, которых они не знали, взглянула на янтарь и раковину. Потом она придвинула к ним ветвь красного коралла.

— Так способнее будет, — сказала она. — Коралл-то ты себе возьми, для науки. Мне он ни к чему. Гляди ты, на земле рязанской что собралось — из каких краев дальних! И еще мне сдается: горюем мы все, страданье принимаем, льем слезы; вот бы слезы наши обернулись самоцветами какими, окаменели, а потом снова людям засветили. Только не бывает так, — заключила она с грустью. — А все же, думается мне, не зря наши слезы...

Загоскин смотрел на алую ветку и думал, что этот день запомнится ему на всю жизнь. Сколько он узнал в одно это утро о судьбах людей, шагавших вместе с ним под солнцем! Ему представился индеец Кузьма, бредущий по сверкающему насту с копьем в руке, в обледевшем плаще, с лицом, исполненным суровой и неотступной решимости. Кузьма пошел к колыбели сына своего друга... И Загоскин с гордостью ощутил, что жизнь его, так же как и жизнь Ке-ли-лын или Кузьмы, крепка и ясна, как янтарь.

— Знаешь что, Таисья Ивановна? Один хороший, умный и очень больной человек, который любил народ сильнее своей жизни, сказал мне, что через много лет Россия вспомнит всех, кто любил ее и желал ей добра. Нас тоже не забудут.

— Выходит, что так, — вздохнула Таисья Ивановна. — Пойдем, Лаврентий Алексеич, поглядим на божий свет. Уж как мне ваш ручей нравится...

Они сошли с крыльца. День был уже на исходе, солнце освещало нижние половины стволов, нежно-золотые пятна лежали на мхах. Лес высился вокруг разноцветными стенами: вблизи они были зеленые, потом — голубые, а вдали — совсем синие. Где-то мерно стучали топоры. Изредка в лесной тишине слышался гул падающего дерева. Загоскин шагал рядом с Таисьей Ивановной. Мелкая, уже прохладная пыль проселочной дороги ложилась на его сапоги. Он шел и думал о том, каким должен быть человек будущего столетия, который поймет и оценит его жизнь. В том, что такой человек придет в мир, Загоскин не сомневался. И он думал о том, что в жизни своей он свершил все, что мог, и что впереди снова испытания и борьба.

Родник бежал в ложу из гремучих камней. На дне его лежали пожелтевшие хвойные иглы.

— Ишь какой он живучий, поди и зимой не замерзает, — сказала Таисья Ивановна и зачерпнула морщинистой ладонью воды из ручья. Огнистые капли упали с ее пальцев и снова смешались со светлыми струями.

— Благодать! — промолвила старуха. — Жить, да еще как жить будем.

Она сняла с шеи ладанку на потемневшем

шпурке и разорвала зубами угол полотняной подушечки.

Загоскин молча смотрел на Таисью Ивановну. Она склонилась над ручьем и вытряхнула щепоть серой аляскинской земли в воду.

— Пусть с землей российской смешается. Одинаковы они... — просто сказала женщина и выпрямилась. — А теперь идем, Лаврентий, домой. Там дел всяких много. Жить нам надо!

Вокруг них, дыша смолою и прохладой последних рос, вставали необъятные корабельные леса Рязанской губернии...

1940—1941

Москва — «Лебедь» — Можайск.



ОГЛАВЛЕНИЕ

А. И. Алексеев
Сергей Марков
и его герой

5

Глава первая

13

Глава вторая

21

Глава третья

28

Глава четвертая

37

Глава пятая

42

Глава шестая

63


Глава седьмая

70

Глава восьмая

84

Глава девятая	95
Глава десятая	105
Глава одиннадцатая	114
Глава двенадцатая	121
Глава тринадцатая	133
Глава четырнадцатая	146
Глава пятнадцатая	155
Глава шестнадцатая	167
Глава семнадцатая	177
Глава восемнадцатая	184
Глава девятнадцатая	203
Глава двадцатая	209
Глава двадцать первая	221



Глава двадцать вторая

229

Глава двадцать третья

240

Глава двадцать четвертая

253

Глава двадцать пятая

261

Глава двадцать шестая

269

Глава двадцать седьмая

275

Глава двадцать восьмая

285

Глава двадцать девятая

294

Глава тридцатая

299

Глава тридцать первая

310

Глава тридцать вторая

314

Глава тридцать третья

324

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Автор, художник и издательство
рады будут узнать ваше мнение
об этой книге и ее оформлении.

Пишите нам по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.

Дом детской книги.

СПАСИБО!



Литературно-художественное издание

Для среднего и старшего
школьного возраста

Марков Сергей Николаевич

ЮКОНСКИЙ ВОРОН

Роман

Ответственный редактор
Т. Н. Терехова

Художественный редактор
Е. М. Ларская

Технический редактор
М. В. Гагарина

Корректоры
Л. А. Рогова и А. Н. Саркисян

ИБ №11939

Сдано в набор 24.02.90. Подписано к печати 03.09.90.

Формат 60×84¹/₃₂. Бум. кн.-журн.

Шрифт обыкновенный.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 10,23. Усл. кр.-отт. 10,93. Уч.-изд. л. 11,07.

Тираж 100 000 экз. Заказ № 4208. Цена 3 р.

Орден Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов
издательство «Детская литература»

Министерства печати
и массовой информации РСФСР.

103720, Москва, Центр,
М. Черкасский пер., 1.

Орден Трудового Красного Знамени
ПО «Детская книга»

Министерства печати
и массовой информации РСФСР.
127018, Москва, Суцеский вал, 49.

Марков С. Н.

М26 Юконский Ворон: Роман /Художн.
Д. Утенков.— М.: Дет. лит., 1990.—348 с.:
ил.

ISBN 5—08—001604—3

Роман об исследователе Аляски, русском
морском офицере Лаврентии Загоскине.

М 4803010201—374 240—90
М101 (03)-90

ББК 84Р7